



МАРИЯ ГОЛОВАНОВСКАЯ

ПАНГЕЯ



Новое
Литературное
Обозрение

Мария Голованивская

Пангея

«НЛО»

2014

Голованивская М. К.

Пангея / М. К. Голованивская — «НЛО», 2014

Революционерка, полюбившая тирана, блистательный узбекский князь и мажор-кокаинист, сестра милосердия, отвергающая богача, царедворцы и диссиденты, боги и люди, говорящие цветы и птицы... Сорок две новеллы, более сотни персонажей и десятки сюжетных линий – все это читатель найдет в новом увлекательнейшем романе Марии Голованивской «Пангея». Это «собрание пестрых глав» может быть прочитано как фантазийная история отечества, а может и как антиутопия о судьбах огромного пространства, очень похожего на Россию, где так же, как и в России, по утверждению автора, случаются чудеса. Но прежде всего это книга страстей – любовных, семейных, дворцовых, земных и небесных, хроника эпических и волшебных потрясений, составляющих главную ткань русской жизни. И конечно же, это роман о русской революции, которая никогда не кончается

© Голованивская М. К., 2014

© НЛО, 2014

Содержание

Книга первая	6
Предисловие. Картина	6
Анна и Валентин	11
Лидия и Александр	19
Васса и Кир	24
Конон	36
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мария Голованивская

Пангея

© Голованивская М., 2014

© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2014

Текст – это не жизнь, у него иное время, нежели у нас. Он и есть наш протест против смерти. Возможно, мы похороним Бога под тяжестью наших слов, но из текста мы никогда не сумеем создать человека, который сможет просуществовать дольше, чем Он.

Мишель Фуко, «Археология знания»

Книга первая Жизнь



Предисловие. Картина

Отец Андрей бежал по тропинке к реке. Слишком прытко для его лет и комплекции: живот свисал к коленям, сутулая спина сгорбилась, да и годы недетские – шестидесятилетний юбилей отгремел два года назад на всю округу, пришло полгорода: и местная братва, и цыгане – сколько с ними ни воюй, они все равно украшение на празднике, – и прихожане с караваями и расстегаями, на старинный манер. Хорошо еще, что родился он не в пост, а то, может, и уволили бы его за гулянку, а так только тихонечко пожурили из епархии – нехорошо такие пиры закатывать. Но светским пиршеством юбилей на полтысячи человек назвать было все-таки нельзя, хотя и разное там творилось: звонили в колокола неурочно, палили по голубям. Главное, что свершилось тогда в кажущемся неприличии праздника, – подарок: пообещали пацаны построить отцу Андрею новую церковь вон на том пригорочке, с которого он и спулся теперь к размытому дождями берегу Волги. Скидывались и торговые, возившие по реке контрабандную икорку да ношеное европейское тряпье, и бандюганчики, крышующие рынки, скидывались местные милицейские чины, отгрохавшие себе особнячки почище нуворишевских. Ну что ж, спасибо им. Подарок хороший.

И вот храм этот красовался на пригорке, белехонький, новехонький, оттого-то прытко и бежал батюшка – на радостях. Приняла его комиссия, надо теперь расписывать – дело уже не муторное, как стройка и грязь, а душелюбное, требующее человеческой искры.

Невзирая на скользоту и грязь под ногами, бежал он к Николе Сапрыкину – дружку со школьной скамьи. Что нам, русским людям, грязюка эта, день солнечный, отряхнуться потом – дело копеечное. Бежал, бережно прижимая к боку альбом с наилучшими мировыми фресками, привезенный по его просьбе с оказией из столицы с первой электричкой. Распахнул и обмер. Сразу попал на нужный разворот. Пир царя Ирода. Страсть как живо изображено, сочно, с характерами и обличительным пафосом – все разряженные, прямо как наши жены купеческие, Саломея, Иродиада, на подносе ей голову предлагают. Глаза у Иродиады как тлеющие угольки, ее оранжевое платье в них как языки пламени отражается, пальчиком тычет в голову, словно на рынке она сторговалась и берет свиной окорок, а рядышком тискаются двое, и хоть бы хны им – ни стыда, ни совести, похоть одна. Жизненная работа, хотя и святая.

Никола – золотая кисточка, отец Андрей всегда считал так, несмотря на все его делишки. Еще в школе рисовал, в кружок ходил. Потом училище закончил профессиональное, дружили его, но исключительно за талант, мол, много на себя берешь, зеленый еще. Закрутил он там с молодой учительницей, пучеглазой, но в целом видной, с выдающейся грудью и тяжелыми ляжками, забеременела от него, родила, так денег давай, а на чем тут подработать можно, живописцы-то на кой нужны? И раньше было не густо, ну разве что портреты партийные рисовать для клубов, а теперь совсем голяк, нету клубов, нету кумиров, жен разьевшихся малевать на стены – так нету у Николы обхождения, хамоват. Стал торговать, сначала овощами, потом барахлом всяким, потом антикварными ложками, скупленными у старух, да образками, через это приспособился подделывать, подклеивать да подмазывать, держатель старья заприметил его руку умелую, с торгашества снял и к реставрации пристроил. Реставрировал Колька, монета ему шла, жена давай еще рожать, он еще шутил тогда, что раскормил, видать, ее, раз она детей приносит. Потом бес попутал его, стал сам приторговывать, разматал клубочек – где брать, кому сбывать. Начальнички проведали, правую руку рубить не стали – чего же курке с золотыми яйцами башку рубить, но левую отчекрыжили. Чтобы ума у него прибавилось. Хотели потом вернуть в мастерскую, да не захотел он, плюнул на бабу свою, на орудия рты и запил, колесом пошел, где проснется, где уснет – никогда не знал. Почки застудил. Чуть не помер. Принесли домой. Просох. Но ненадолго. Дома стал пить под отчаянную брань жены, попреки, пока она другого не привела, туда же, к нему на глаза. Отгородила ему угол, завесила простыней – а что ему, с обручком много не заработаешь, но зато, глядишь, сжалится кто-то, подаст на хлеб да опохмел. Просил. Сидел у магазина. Тик у него появился – моргать стал и таращиться, лицо сделалось деревянное, серое, и космы седующие сбились в клок на затылке, похож он стал то ли на птицу, то ли на летучую мышь с пустым ртом и навечно застывшим вопросительным знаком поперек лица.

Отец Андрей много с ним разговоров говорил. Утешал. Жену его вразумлял. Вот и понес ему под мышкой Филиппа Липпи, вошел в грязную конуру, где копошилась его нечистая семейка, отодвинул простынку, присел на корточки:

– Смотри, чего говорю, – он мягко тронул его за плечо, лежащего на голом матрасе под двумя промасленными ватниками. – Ты глянь, тебе любо будет.

Никола открыл глаза, сел.

– Закурить есть? – тихо спросил он.

– Закурить у меня нету, ты же знаешь, – виновато ответил отец Андрей. – Прости, не подумал я, но глаза-то разуй.

Он открыл книгу там, где у него было заложено газетным отрывком, и подсунул ему под нос.

– Не по-нашему написано, – сказал Никола.

– Мне мнение твое нужно, – жалостливо попросил отец Андрей.

Никола уставился на разворот. Закашлялся. Потом без напоминания уставился опять:

– Ну че, знатно, – промышчал он и повалился на бок назад на матрас.

– Можешь так? Но только в нашем православном духе, с одеждами другими и прочая? Никола выругался.

Отец Андрей перекрестился.

– Словами ответить можешь? – упорствовал отец Андрей. – Я тебя кормить буду, поить буду, работу разобьем на четыре шага, и после каждого давать буду живые деньги. Фреска мне нужна в новую церковь.

Никола опять сел.

– А пожить мне есть где? Если работа большая, жить надо по-людски.

– Поселю.

– Ну пошли тогда, нальешь мне, обсудим дело.

Он встал, плеснул из кувшина на руки, умылся над тазом, достал из-под матраса чистый свитер, натянул.

– И еще мобильник мне купишь, я при таких делах на связи должен быть.

– Хорошо, – кивнул отец Андрей, – по-людски, я обещаю.

Уже через неделю Николу было не узнать. Сосредоточенный, чистенький, деловой. Под его руководством были сооружены какие-никакие леса. Углем на своде, том, что прямо напротив входа, были намечены фигуры и композиция. Отец Андрей каждый день заходил к нему, ободрял, композицию Никола наметил точно как у Липпи – а чего, мастер известный, и от нашего маленького городка будет ему поклон.

Поселили его в каморке при кухоньке в трапезной, там же и кормили, идти недалеко, метров триста от старой церкви.

Когда Никола закончил сетку, а выполнил он ее особенно старательно, с обильной молитвой, и набросал основных персонажей, он запил, как сам сказал, от переутомления, и на укор отца Андрея заметил:

– Ты так уж часто ко мне не заходишь, душа художника публичности в процессе не выносит. Ты дай мне дело сделать, а потом и ходи.

Отец Андрей кивнул, но нехотя. Как без присмотра? Но выбора не было, раз художник просит – надо уважить.

– Ладно уж, – сказал отец Андрей, переминаясь с ноги на ногу на замусоренном церковном полу, – через неделю приду, акцептуешь?

– Все акцептую, – кивнул головой Никола, – выпей со мной за новое творение большого искусства.

Выпили.

Отец Андрей перекрестился и вышел вон.

Когда через положенную неделю он зашел в церковь, то чуть не лишился речи. Фреска была практически готова, но что на ней было изображено, разумению не поддавалось. Вроде композиция осталась как у Липпи, и персонажи на фреске были изображены похожие, и цвета гармоничные, как в оригинале, но сами люди-то не те, не те!

Никола лежал тут же на холодном полу в дымину пьяный.

– А кто это у тебя в левом нижнем углу, – осторожно начал отец Андрей, – что-то я при таком освещении не разберу.

– Анна, она ложки серебряные драит, а у ног ее сидит Валентин, муж ее, мент.

– Мент? – задохнулся отец Андрей и пнул лежащего на полу Николу. – А это кто в красном одеянии с копьем?

– Это Лот. Правитель, а за ним в серой шапочке – Константин, проныра премьер-министр. Лот хотел построить храмовый парк, да ведьмы схарчили его.

– Ты нарисовал ведьм? – прохрипел отец Андрей и сделался пунцовым.

– Угу, – промычал Сапрыкин, – а без них история не движется. Посмотри, три серые женские фигуры за левым крылом стола. У Липпи это так и было, он тоже ведьм изобразил, но не цветом.

– Ну а что за баба стоит за твоим Лотом? Косы заплетены, платье красивое, праздничное.

– Я вижу, тебе нравится моя фреска, – констатировал Никола, – спасибо, как говорится, за внимание. – Это Ева, возлюбленная Лота, она родила ему сына, Платона, вон он сидит в центре стола с португееми крест-накрест. А рядом с ним Нур, она не человек. Она от богов родилась на небе, шабаш там был.

Отец Андрей посмотрел на него нехорошим глазом и полез на леса.

– Это где же такое происходит?

– В Пангее.

– Ась?

– Ну Бог-то один, и земля одна...

Он откупорил еще бутылку и разом выпил половину.

– А голова чья? – не выдержал отец Андрей.

– Голова Голошапова. Это Рахиль организовала, жидовочка престарелая, когда начался переворот. Большой переворот произошел, но черножопым дали достойный отпор. Бог помог и Платон спас. Ты не сомневайся – чудо помогло. У нас же все через чудо.

– А рядом с этой Нур кто? – отец Андрей, кажется, уже спрашивал помимо своей воли, вопросы сами выскакивали из него и скакали по полу, как рассыпавшиеся бусины.

– Это Лахманкин, он советником был у Лота, а потом писателем, расстреляли его. Заподозрили, что он придумал голову Голошапову сечь. Но Лахманкин ни сном, ни духом – это я тебе говорю. Канун большого бунта, – прохрипел Сапрыкин, повалился на бок и захрапел.

Отец Андрей хотел было спуститься и приказать немедленно смыть фреску, но желание рассмотреть все повнимательнее опять одержало верх. К тому же, поднявшись, он различил процарапанные гвоздем на влажной еще поверхности имена. Итак, голову на Николиной фреске поднесли не Иродиаде, а Платону. Саломея, судя по надписи, стояла справа в углу, отвернувшись от стоявшего у ее ног на коленях богача – это было видно по его расшитой золотом больничной робе. На пальце у богача Никола изобразил огромный золотой перстень. «Конон» было нацарапано под фигурой стоящего на коленях. Рядом с ними басурманин мел пол самой что ни на есть обычной метлой, но вокруг его головы светился нимб – потому что он был новый мессия, и Сапрыкин не пожалел для него золотой краски. «Юсуф» – гласила надпись. За правой частью стола восседал восточный принц в белом кителе и тянул руку к Юсуфу, а в другой под столом сжимал нож. Рядом с ним восседали блистательные военные в папах с кинжалами.

Одной переделкой персонажей Сапрыкин не ограничился. Внизу клетчатый пол развернулся и открывалось апокалиптическое представление – конца света. Узнавалась столица, заваленная трупами, там и здесь полыхали гигантские костры до небес, среди которых гордо расхаживал тот самый в белом кителе, и написано под ним было «Тамерлан». У ног Тамерлана Сапрыкин нацарапал «все равно не победил». А фигуру какого-то лохматого в кроссовках и клетчатой фланели, по виду компьютерщика, он перечеркнул двумя жирными чертами крест-накрест, прямо поверх процарапанной под изображением надписи «Арсентий». Наверху, над головами трапезничающих на Иродовом пиру, Никола изобразил Царствие Небесное, где восседают Петр и Павел, они судят грешников – какую-то рыжую бабу, потом этого самого дворника, потом какую-то барышню с окровавленной промежностью. Ноги Петра обвивает хвост сатаны, сразу видно, что он, Петр, у Николы не в чести, да и лицо у него лукавое, совсем не святое. Над ними, уже в купольном своде, Господь в белых одеждах и сатана бьются на круглом ринге, а по краям стоят разные боги, подначивают борющихся, хлопают в ладоши.

В ужасе отец Андрей слез с лесов и бросился прочь. Добежал до дому, заперся. Утром обмыл лицо и опять пришел в храм, растолкал Николу.

– Ты что такое намалевал? – в неистовстве накинулся он на него.

– Так ведь красиво же получилось, – не открывая глаз, протянул Никола, – а красота, она спасет мир, реально...

– Объясни, что это! – отец Андрей рванул его за шкуру вверх и почти что поставил на ноги.

– Да я сам не знаю, Дрон. Ты не бей только. Пригрезилось!

– Я ж теперь смывать это все должен! Ты же церковь осквернил, гад! Я помочь тебе хотел, а ты?

Он поднял глаза на фреску: а ведь прав Никола, красивая получилась. Очень даже. И многие, может, и не поймут подмены, про Христа люди более или менее знают, а вот кто там на пиру у Ирода присутствовал, когда голову Крестителя принесли, не многим известно. Глядишь, не очень-то и разберутся, а смывать такое масштабное полотно жаль.

– Ты понимаешь, – начал Никола, – Лот тиран был и много на себя хотел взять, а его обставил хитрец – так же по правде и бывает.

– Ууух, ну и подлец же ты, пьянь полоумная, – взвился отец Андрей. – Смывай все!

Он пошел к входу, что-то бурча себе под нос, но у самого порога оглянулся.

– Ладно, погоди пока смывать, позову спецов, обсудим, что можно сделать.

Через неделю в обстановке полной секретности отец Андрей показывал столичным искусствоведам – присланным друзьями, надежным, проверенным, фреску.

Как они вошли, увидели, так и застыли как вкопанные. Кто-то, забывшись, даже присвистнул, кто-то едва успел подавить смешок.

– Нет комментариев, – твердо сказал профессор художественной академии, – это белая горячка, и дело с концом. Ты, отец Андрей, очень рискуешь, так что смывай скорее. Я ведь выразил общее мнение?

– Нууу, не совсем, – засомневался один из четырех искусствоведов.

Начался спор. Мнения множились. Отец Андрей хлопал глазами, пытаясь хоть как-то подытожить полемику. У него не получалось. Выходило, что фреску надо поскорее смывать, но в то же время делать этого категорически было нельзя: церковь место святое, но именно секуляризация искусства и дала великих мастеров.

Спор продолжился и за ужином, где непонятно как оказался и Никола – пьяненький, в спутавшихся мыслях.

– Я что хотел сказать? – порывался выкрикнуть он, вставал со своего места, начинал колотить себя в грудь, гримасничал подобростшим уже лицом, – что свято место не бывает пусто, что везде, где что-то святое было, прорывается жизнь. Кривенькая, и пускай...

Его усаживали, подливали еще, сначала кто-то из искусствоведов хотел было поспорить, но спор не шел, потому что Сапрыкин начинал орать и бить себя в грудь, манера для людей науки совсем неприемлемая, неприличная.

Под утро все разъехались, а Никола, слив опивки из стаканов, вернулся за свою занавеску и захрапел.

Некоторые потом рассказывали, что смыли фреску, позвали столичного богомаза, который в точности исполнил заказ и скопировал фреску Липпи, а некоторые уверяют, что ничего не смывали, что это она и есть под потолком новой церквухи, но поскольку там высоко сильно, то с земли не разобрать, что в точности намалевано и чья голова валяется на серебряном подносе.

С земли вообще многое не разберешь – надо подняться.

Анна и Валентин

– Я не хочу пирожных, а хочу дождевых червей. Мама, мама, посмотри, как прекрасно они упакованы!

– Лизонька, что за причуды? Ты же не шутка, чтобы клевать на червя! А если и так, то бери всегда мальков – вот тебе мой совет, и никогда не принимай первое, что дают.

– Но почему тогда эти черви так элегантно упакованы?

Анна проснулась. Дурацкий сон в полнолуние. Желтые блики на полосатых обоях. Анна не любила сны. Особенно абсурдные, с попугаями, обмахивающимися веером, или про щучек, прикидывающихся ее дочерью. Что в них, в снах-то этих? Намеки? Страхи? Переживание своей беспомощности?

– Сумбур, – обычно констатировала Анна. – Нечего и думать. Арифметика перевернутых цифр. Надо встать на голову, чтобы понять. Но такое акробатство было ей не то что не по душе – не по чину. Она что, прошмандовка какая, чтобы думать о снах? Пролетарийка, выбившаяся в люди?

Она поднялась, прошла по квартире, открывая дверь за дверью. Где он? Нет его. Что?

Вся ее квартира была залита кровью. Его плебейской кровью. Она все время твердила себе про него: «плебейская кровь». И всегда и везде видела рядом с ним, в нем самом только это.

Как она выглядела, эта кровь?

Пустые сигаретные пачки, набитые искореженными окурками, остатки еды прямо на столе, на салфетке. Жрал. Эквилибристика во время еды – его коронный номер, подцепить килечку и с лету попасть в рот, что-то пожирать, удерживая жирный кусок на весу.

В прихожей на полу вывернутые наизнанку портки, переоделся, видать, в еще большую рванину, чтобы по-своему щегольнуть: это у вас, у дур, всякие рюши и бессмысленные кружева, а у нас, у черной кости – одна правда, простая, грубая, ношенная и вонючая: мы сами – плоть и все у нас – плоть от плоти. Тут же рухнувшая откуда-то вязаная грязно-зеленая шапочка с надписью Paris. Париж, его мать!

– Лиза, – позвала Анна, – Лиза!!!

В комнате дочери ее ждала записка, исполненная идеально круглым почерком: «Мамочка, я в кино с друзьями, буду дома в 22:15, как и было условлено. Лиза».

Ее дочь. Не его. Биологически, конечно, его, но по духу, характеру, нраву – полностью ее безупречная дочь. Правильно держит спину, глядит, умеет непринужденно есть вилкой и ножом. Отличает серебро от латуни, изумруд от бирюзы, иронию от пошлости.

Мысли о дочери и муже будоражили ее. В ней текла голубая кровь, ни капли не замутненная его темной кровью, вязкой, липкой, с запашком. И еще этот дешевый адреналин, заставляющий его плебейское естество вскипать, совсем не тот же, что пронзающие ее и Лизоньку тонкие ледяные нити отвращения, негодования, инобытия. А желчь? Разве можно сопоставить ее желчь и его? А стул? Его темный отвратительный стул, окрашенный его желчью, и ее розовые, словно от лепестков роз, экскременты, выпестованные породой, возведенные породой в идеал органического производства, подобно шелкопрядовой нити или кофейному зерну, вышедшему из попки мусанга. Порода. Отличие, переданное в поколениях. Избранность.

Если бы Анна знала, что дочь ее пойдет на самое дно, окунется в густую муть, станет питаться с помоек и отдаваться любому, кто пожелает, она начала бы беспокоиться уже сейчас – и от этого ровного почерка, и от кино, и от назначенного с педантической точностью времени возвращения – 22:15. Но она не знала и потому спокойно отправилась на кухню выпекать ей ароматную плюшку с изюмом, сдобную, с сахарной пудрой: вот придет она из кино, а тут ей прекрасный для девицы ужин: стакан молока и свежая сдоба. Они должны уметь ухаживать

за собой, они понимают, в чем смысл излишнего ритуала, они же не быдлаки, хотя и живут среди них и даже от них рожают. С кем, интересно, Лизонька свяжет свою судьбу? Найдет спокойного, вдумчивого, чистого мальчика или будет мыкаться по белу свету, как мать?

Она выглянула из окна, раскрытого в мокрую осень: среди этой осени ревел город – их плебейское царство, переливающееся дешевой электроэнергией рекламы, берущейся не от алмазного перелива, а из вилки, воткнутой в розетку. «Жрите!» – так она трактовала каждое рекламное обращение, сладострастно отмечая, как Валентин любит красотками на щитах или в телевизионных роликах, хрюкающими и визжащими в такт его желанию получить предмет рекламы: сумку-термос, стельки для особо потеющих ног, дрянной исторический роман про кого-нибудь из царей.

– Оооо! – заходился он в восхищении. – Нам бы с тобой такое, а, Анют?

Город – ловушка для простаков, она много раз повторяла ему это. Полурабов, полусвободных, готовых жить в фанерных коробках за миску химического риса, за возможность пройтись по тротуару, отражающему милые молодые лица с афиш.

Самое главное, чем дорожат свежее испеченные горожане, – доступность девок, кишащих в скверах, которые весело откликаются на призывы дать поглазеть. За медный грош, за полушку, за лизнуть мороженого, доступность девок и аттракционы.

Эх! Прокачу!

Да неужели прокатишь?

Да! Только крепче держись!

Голодные, жадные, горлопанящие, хватающие все подряд, затаптывающие друг друга в сутолоке, не помнящие имен своих чахлах детишек – он был один из них, ее муж Валентин, вечно алчущий что-то, кого-то держать зубами за загривок, выгрызть свое право на «поиметь».

Она беспокоилась за свою дочь, выбрав ей в отцы плебея. Что унаследует она? Эти локтевые суставы, эти щупальца, эти челюсти? Эту энергию выживания, из которой они сконструировали себе эти города?

Нет-нет, Анна не была озадачена этими гадскими чертами, которых ни при каких условиях не хотела обнаружить в своей дочери. Она понимала, откуда они взялись: этих валентинов убивали тысячами, сотнями тысяч, давили как прыщи, в то время как подобных ей убивали поименно, казнили театрально, на площадях, отсекая голову острейшим лезвием гильотины или, позже, спуская пистолетный курок.

– Брешешь, – слышала она временами чей-то упрек, – вас тоже выжигали тысячами, разве никто не рассказывал тебе о революции, натурализации, подвальных расстрелах?

Анна озиралась и каждый раз, не находя собеседника, пеняла на вырождение, отчего и слабое зрение, и полная небылиц голова.

– Ты ведь знаешь, – упорствовал кто-то, – как твердо они упирались тогда в землю расстрескавшимися пятками, удерживая равновесие лишь растопыренными пальцами ног для того, чтобы заполучить все ваше: имена, землю, допить ваше початое вино? Они вдоволь тогда наплющили девичьих наковаленок своими елдушками-колотушками, дав жизнь особому племени, живущему оседло, но с кочевым седлом на голове, племени, где никто ничего не знал о себе, кроме общего для всех имени матери. И многие из вас – оттуда, от этих отцов и этих матерей. А и Лиза твоя...

Только впервые увидев ее, при тысячекратно благословенных им обстоятельствах, это ведь бывает – позвали экспромтом отметить День армии и флота в компанию, где баб поболее мужиков, он тут же самозабвенно полюбил ее до умопомешательства. Вида не показал, остался верен себе, но эту, сияющую алмазным блеском, именем и умением заплести слова в безупречный словесный венок, он был готов не просто целовать бесконечно – лизать до стирания языка под корень, он готов был рычать и лаять по-собачьи на каждого, кто бросал на нее косой взгляд,

он хотел восторженно выть и пускать слюну от этой тонкости запястья, от изумрудного мерцания глаз, точно такого же, как на портрете ее прабабушки в чепце, черном платье с кружевным воротником в полспины, почти полностью закрывавшим пологие, наверное, мраморные, думал он, плечи. Бабка молча сидела с ридикулем на коленях в темной дубовой рамке всегда над обеденным столом, раньше – в ее квартире, теперь в их общем доме, захламленном его жизнью и ее страданием – бесслезным, бессловесным, изуверски прекрасным, оставшимся от всей ее сути – как сама суть.

Он страстно полюбил ее тогда, много лет назад, оттого только, что она посмотрела на него. Как она попала на тот убогий праздник – бог весть, может быть, ее принес в своих объятиях февральский ветер, а может быть, она спустилась по лунному лучу. От этого взгляда он вспыхнул и мгновенно наполнился чувством беспредельной преданности и готовности принадлежать полностью. Как и многие люди его племени, он, сам того не зная, искал только одного – хозяина, кого-то, кто будет бить его и шпынять, а он, раненный высокомерием и равнодушием, станет сильничать и гадить, сначала в мечтаниях, а потом и наяву.

Потом они столкнулись во второй раз, случайно, в книжном магазине, что находился на прямом, как шпала, проспекте. Он покупал атлас для младшего брата, как и он сам, рожденного без отца, а может быть, и случайно где-то найденного матерью – так иногда шутила их единственная бабушка. Их хорошенькая мать всю свою жизнь проработала бухгалтершей при заводской конторе, куда за неизвестной надобностью заехал партийный функционер из глубинки, прибывший в районный центр сибирской части Пангеи на партийный слет. Он увидел ее, они вышли на чашку чая, вечером перешептывались в кинотеатре, и уже через месяц она ошибалась в расчетах, и цифры в столбцах, как сговорившись, не желали больше сходиться, как и ее юбчонка, некогда рьяно подчеркивавшая талию.

Его, рожденного от партийца в сибирской глухомани, мать назвала Валентином.

– Бабское какое-то имя, хоть убей, приговаривала бабушка, – Валька – это же женщина, вон соседка наша тоже Валентина, так ты что блажишь-то?!

Валентин вырос красивым и развитым, с милыми чертами лица. Маленький рот и розовые щеки долгое время беспокоили его, он хотел быть настоящим пацаном, до хрипоты курил, научился сплевывать сквозь передние зубы и специально разбил о батарею костяшки пальцев, потом долго растревал их, а не лечил, чтобы получились шрамы, которыми можно гордиться.

Он нравился женщинам. Крепкие ягодицы, мощный мужской якорь внизу живота, вылепленный словно античным скульптором торс, плебейский наглый блеск в глазах – все это сразу внушало им слабость перед его желанием – протянуть руку и взять, сорвать, смять, выбросить, если придется – нехотя поднять. Они прощали его сразу, во время первой же встречи. Эти трехнутые на нем бабоньки давали ему деньги и служили посыльными, прачками, медсестрами – кем придется, только бы он захотел взглянуть на них еще разок, пускай даже рассеянно или зло.

Но с Анной он почувствовал другое.

Господь замечал таких, как Валентин, он внимал их коротким и зачастую фамильярным мольбам и призывам, видя в них представителей того самого племени, которое ни при каких условиях не должно было достаться сатане. Валентин попросил Господа об Анне, и он без лишних раздумий преподнес ее ему. Анна отдалась ему впервые на узкой кровати в родительском доме – сама привела его туда и соблазнила – зачем? А захотелось. Понравился он ей, да и сразу дал почувствовать: будет мучить.

В тот вечер она почти с нежностью глядела на Валентина, неловко натягивающего на себя женские трусы – утром перепутал и взял с батареи мамины, – и даже хотела сказать ему полунежность, намекнуть на удовольствие, которое он ей доставил, но он сумел-таки посмотреть на нее с брезгливостью, как обычно смотрел на покоренных баб, с раздражением, заставлял почувствовать себя смятым конфетным фантиком, хотя полюбил впервые, впервые сло-

мал зубы, прикусил язык до крови и чуть было, впервые обняв ее, не захлебнулся от внезапно хлынувших слез.

Но потом он совладал с собой:

– Я далек от всяких там ваших признаний, ах красавица, ох кудесница или как-то еще, – сказал он, прихлебывая чаек в столовой под прабабушкиным кружевом. – Определил – «люблю» – значит все, моя! И не выдумывай там себе лишнего, слышишь?

Господь знал их особенность, идущую от породы: они все время теряли нить настроения, все время метались в чувствах, переходя от любви к небрежности, от веры к скуке, от обещаний и клятв к вселенскому разгулу.

Уходя, Валентин почувствовал и спасительное успокоение. Первое все-таки от женской сладости Анны, а второе – от того, что он не только потоптал ее, но и подрастоптал, что для простолюдина поприятней любых соитий.

«Мой, – подумала Анна, захлопывая за ним дверь, – будет так же страстно любить, как и мучить».

Он орал на нее.

Он называл ее дрянью.

Он, уже после брака, зарекся переступать порог ее дома, называя его не иначе как банкой с червями.

Он обливал грязью, презрением все, что она любила, топтал ее святыни, наслаждаясь, что может распять, а потом снять с креста и как будто воскресить ее, эту небожительницу, хотя и с поломанными крыльями за спиной.

Она сохранила свою фамилию, звучание которой каждый раз секло его душу в кровь.

Рассуждая внутри себя об этой любви, он блуждал в дебрях, не находил слов. Он то бесновался, вспоминая, как она отдалась ему в первый раз – ну совсем как простая баба, без лишних охов, вздохов и прелюдий: притянула к себе, расставила ноги – и давай! Так-то она, небось, и другим давала или могла бы, рассуждал он, чувствуя, как по жилам его перекачивается кипяток. То вдруг его охватывала нежность к ней, даже жалость: ну куда она такая некультипистая без него, он же ей и как отец, и как старший брат – защита и опора. Потом вдруг он начинал мучиться от осознания ее красоты, вспоминал шею, припухлые губы, поволоку, которую она по желанию демонстрировала ему, когда он совсем уж добивал ее криками и угрозами. Ну, конечно, он очень часто хотел убить ее, представлял себе, как раскраивает топором череп, как потрошит и всю ее многосложную изнанку запихивает потом в морозилку, но мысленно нахлебавшись ее крови, он обязательно шел к ней, обнимал, целовал, терся почти по-детски носом о ее бледную щечку, непременно спрашивая: «Ну ты знаешь, как я люблю тебя, да, Нюш?»

Она тоже нередко грезилась о страшной ответной расправе, она представляла, что дает ему таблетки, от которых его разобьет паралич, и она днями не подходит к нему, держит в закрытой комнате грязного, бессильно умоляющего о глотке воды, у нее эти грезы также непременно завершались коротким приливом нежности, от которых он обычно отмахивался или, что намного реже, принимал с выражением снисходительности на лице.

Наяву он редко поднимал на нее руку.

Бил иногда за скуку на лице. За равнодушие. За невозмутимость. Но увидев кровь, быстро успокаивался. И тогда только она улыбалась.

Анна не удостаивала вниманием его жизнь. Она словно не слышала его хамства, не видела его гадких выходок, не чувствовала боли и синяков.

Как она оказалась здесь, в Сибири? Сослали бабушку, потом отца, и остальные приехали сами, чтобы быть поближе к ним и подальше от страха, что гулял по столичным улицам, с особым размахом опрокидывая людей вверх тормашками и отправляя их в тартарары. Они убежали от страха в эти морозы и просторы, волоча за собой в котомках книги и судьбы.

Анна учила дочь французскому, которым овладела сама, упиваясь «Войной и миром». Она сердилась на свою мать, вышедшую здесь за простолюдина через год после того, как отец был переведен за край света «без права переписки». Лизина бабушка, сильная сухая старуха с лицом, словно нарисованным на куске бересты, любила и сейчас повторять эту фразу: «На тот свет, без права переписки».

Но Аннин отчим был не такой, как Валентин. Родом из семьи управляющего большим подмосковным имением, тоже оказавшейся здесь, он питал искреннее уважение к «господам». Всю жизнь он искоренял в себе холопа и сделался к зрелым годам осанистым, читающим, отличающим Шопена от Брамса. Он умел тоненько нарезать сыр, не часто оказывавшийся на их столе, и знал, как очистить яблоко, нигде не порвав его кожуры, чтобы она легла на стол ажурной золотой или изумрудной спиралью.

Все они, как и подруги Анны, брезговали Валентином.

В научном институте, где она усердно трудилась лаборанткой на кафедре, было немало похожих на нее женщин и мужчин, но они с простолюдинами не мешались. По службе никто из них не продвинулся по известным причинам, и держались они вместе. Восхищались старыми книгами, цитировали по случаю и без стихотворные строки, обсуждали концерты, что давали гастролеры в местной филармонии, да спектакли, что представляли вторые составы столичных театров, впрочем, игравшие ничуть не хуже составов основных. И «Чайка», и «Дядя Ваня», и «Бесы» в смелой постановке немецкого режиссера – все это вихрем проносилось по сцене единственного театра, несущего гордое имя местного драматурга, который стоял в бронзе посреди площади напротив сквера, окаймленного с двух сторон трамвайными линиями и милыми витринками кафе.

Они, конечно, поругивали и спектакли, и фильмы, они говорили, будучи еще совсем не старыми, об утраченной планке и требовательности былых времен. Времен, почти стеревших их с лица земли.

– Как ты можешь жить с ментом? – недоумевали подруги. – Он же чудовище!

– Хочешь впустить в себя иной кровушки, чтобы не задохнуться от своей собственной?

– Хочешь что-то доказать нам, скупающим шизофреничкам, предпочитающим нелепую девственность смелым экспериментам?

Валентин внезапно заработал, приразбогател. Забросил фуражку и стал с друзьями – когда-то одноклассниками – возить макулатуру на маленькую перерабатывающую фабрику красного кирпича, что стояла на окраине города последние сто лет. Потом они расширили дело и принялись печатать брошюры и даже учебники для профшкол.

– Твои кореша, – любил иногда выговаривать он Анне, поглощая свою еду из банки (она показно не умела готовить, и он заботился о своем пропитании сам), – вышвыривают библиотеки. Машины превращают твои книжки в кашу, а я печатаю на этих серых листах настоящую правду, которая нужна людям.

Анна знала, что книги больше не сжигают на площадях, она знала, что люди уже переваляли все знание, разъяли все смыслы, замешав в едином котле мудрецов и словоблудов, размножающих на страницах книг и газет образцы своего скудоумия. Какую правду этот выродок печатал на своем вторсырье? Инструкции? Ну конечно! Никому больше не нужна была красота.

Соединяя в себе папины и мамины пристрастия, Лиза любила цветные журналы. Красота и польза лилась с их страниц, липла к юным щекам, совсем еще нецелованным и не знавшим горячих слез. Кем будет она? Учительницей? Умной журналисточкой? Может быть, искусствоведом или стилистом? Благородной матерью достойного семейства? Если бы знала она, что будет хлебать из лужи и подбирать объедки, то, наверное, лишилась бы разума. А вместе с ней и Анна, и Валентин, так показалось бы теперь. Но никто разума не лишился – что поде-

лаешь, судьба, – они приняли, горестно успокоились, так и не узнав, что ей выпала огромная в пангейской истории роль, которую она сыграет через сорок долгих лет.

Анна приняла эту ее страсть к глянцевым журналам как очередную муку. Муку, которой подвергал ее он, теперь уже через общую дочь. Разве это не его быдловская кровь говорит в ней, когда она любит собачьими ошейниками с позолотой или худосочными девками, рекламирующими кожаные борсетки, расставив ноги? Все грязное и уродливое было его. Она каждую секунду чувствовала это и содрогалась от ненависти.

Были ли Анна и Валентин когда-нибудь счастливы?

О да!

Один раз за прожитые вместе двадцать лет они внезапно, неожиданно разделили счастье. Как-то в двадцатых числах июня, когда ночь коротка как никогда больше в году и можно наслаждаться ласковой, почти что ручной природой допоздна, они приехали на озеро с тенистыми берегами, где отважные туристы из столиц и местные ценители рыбалки любили «красиво проводить время». Он поехал тогда с ней под эти хвойные тени лиственниц от духоты, безволия, уставшего иммунитета.

Когда Анна без всякой надежды позвала его на это озеро, он вспомнил детскую историю про огромную птицу, крылья которой были такие сильные, что если задевали деревья, то выворачивали их с корнем. И почему-то люди очень хотели эту птицу убить. Вспомнил – и вдруг покладисто согласился: «Давай поедem, а чего нет-то, чего?!»

Анна, как всегда, легла с книжкой в тень, в элегантном черном купальнике с позолоченными пряжками на бретельках, распустив пепельные волосы струиться по плечам. Все ее зрение наполнилось строками из этой книги, говорившими вот что: «Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу...»

Это «отбил» оказалось настоящим, величественным переживанием, которые могут случаться только вдали от городов.

Тонул мальчик.

Как обычно беззвучно, не заметив, как пологий берег превратился почти что в середину большого голубого водоема.

Что-то бултыхалось у берегов, и он, глотая ртом воду вместо положенного вдоха и выдоха, неотличимо плескался, превращаясь для себя уже в рыбку, виденную им в аквариуме.

Валентин резко встал. Отстрельнул указательным пальцем окурок в воду, заставив всех раскинувшихся в тени дам и теток-кошенок взглядом проследить его траекторию, одним прыжком, выгнувшись по-звериному, впрыгнул в воду, нырнул, выволоч на берег уже практически бездушный кулек с водой.

Его обступили. Мать мальчика, воя от радости, кинулась целовать ему ноги, но он отшвырнул ее в сторону и хрипловато спросил у Анны:

– Лизка где?

– Здесь, – ответила Анна, залюбовавшись, как крупные капли катятся по его пунцовому лицу, как стекают вниз по сильной шее и торсу – прямо как в старых советских фильмах, где всегда солнечно, герой молод и идеально красив, но глядит почему-то не в глаза героини, а в бескрайнее синее небо, манящее его куда более дерзновенной мечтой.

Он неряшливо вытерся полотенцем, отшвырнул и его, как использованный презерватив, куда подальше, не глядя куда, и ушел, красиво ступая широкими ступнями по берегу, на котором тихо лежал среди умолкнувшей толпы обретший дыхание спасенный им мальчик.

Ночью они были счастливы.

У нее голова горела от мысли, что этот прекрасный герой овладевает ею. Она говорила ему настоящие слова, шептала признания, о которых он и не мог грезить. Он осыпал ее лас-

ками, обжигал страстью, раскрывал, раздирал на части, пытаясь вот теперь по-настоящему прорваться в ее нутро.

Наутро галлюцинация, превратившая его в Гектора, растаяла, оставшись где-то рядом со спасенным мальчиком.

Через несколько лет грузная одышливая женщина в грязном городке, где Валентин при-сматривал для покупки маленькую типографию, сказала ему, что он умный и хороший человек. Она работала бухгалтером в этой типографии, и они пошли потолковать в милую кафешку напротив, с серо-синей мебелью и такими же салфетками, где и перекусили некогда королевскими кроватками. Он воткнул свой якорек в ее сало этой же ночью, оно так согрело его, что он овладел и типографией тоже.

Он ушел от Анны в один момент, ласково погладив по волосам их дочь Елизавету, и, даже не оглянувшись в дверях, сказал спиной:

– Я ушел.

Он ушел заращивать пустоту. Дыру, что прожгла в нем Анна.

Он пользовался известным мужским трюком – тыкался в сало, а воображал Анну, и был в целом от этого счастлив и ночью, и днем – днем уже совсем от другого, от того, что обрел свою половину и вместил ее в себя, в ту самую пустоту, которая из-за Анны чуть совсем не погубила его.

– Меня бросил муж, – сказала Анна красивому седовласому мужчине на трамвайной остановке, который чуть пристальней, чем это считается приличным, взглянул на ее слезы, катившиеся по щекам.

– Но возможно ли такое, – постарался выговорить незнакомец, – бросить вас?

– А вы, молодой человек, – проговорила Анна, – вы хотите потрогать руками еще живую королевскую мантию?

Анна происходила из рода купцов первой гильдии, тех самых, знаменитых на всю Пангею, что когда-то изобрели желтую краску, избавив повсеместно полотняные мануфактуры от необходимости закупать это бесценное сырье в Китае. С 1815 года купцы эти, ссылаясь на указ Александра I, составляли прошения о присвоении им дворянского звания. «Почетное собрание покорнейше прошу в силу Указа Правительствующего сената, последовавшего от 21.10.1815 года, ввести меня в дворянство Московской губернии, занести в родословную книгу и дать мне дворянскую грамоту», – писал изобретатель краски, сообщая о себе, что женат на Анне Николаевне и имеет шестерых сыновей – Федора, Николая, Андрея, Алексея, Михаила и Александра, а также двух дочерей – Анну и Марию.

В ответ он получил орден Святого Владимира 4-й степени, но «оставлен в правах сословия купеческому присвоенных» – так гласил Указ, подписанный царем Александром.

И сам изобретатель, и все его сыновья подавали множество челобитных, множество затевали тяжб, которые через долгие годы дали результат отчасти даже оскорбительный: «Ответить купцам, что они внесены в первую книгу, но о выборах не говорить» – таково было высочайшее распоряжение. В кулуарах много судачили об этом деле, неизменно сводя вопрос к одному и тому же вопросу: что будет со страной, если во второе сословие будут пускать сермяжных мужиков?

За прошедшие до Большой революции годы род купцов этих скупил множество дворянских гнезд, главное из которых принадлежало князьям Голицыным – пятнадцать деревень и полтысячи крестьянских душ. Из одного такого дворянского гнезда и выпорхнул знаменитый вице-адмирал, которым вполне мог бы гордиться основатель династии, изо всех сил стремившийся во дворянство. Этот вице-адмирал – то ли Прохоров, то ли Порохов – погиб в одном знаменитом сражении на Северном море во время Первой мировой и был удостоен посмертно ордена Святой Анны, что не помешало его брата, отца Анны уже не святой, сослать в Сибирь.

Род Валентина, по матери Преображенского, происходил из крестьян Ярославской губернии, осужденных за провинности и беглых. Прадед его, третий ребенок в семье, проявил необычайные склонности к чтению и был в 1899 году отдан в Иваново-Вознесенское шестиклассное училище, где «горячим запоем», так было сказано в его характеристике, читал Конан-Дойля, Жюль Верна и Вальтера Скотта. Когда он заканчивал училище, в Иваново-Вознесенске началась крупная забастовка, которой руководили профессиональные революционеры. Их речи очень впечатлили мальчика, как и песни, отчего он сам стал сочинительствовать и был замечен именно через это свое умение. Дети его – два сына от разных матерей – имели очень разную судьбу. Один выучился и был из-за этого расстрелян как оппортунист, а другой счастливо уцелел в глухой деревушке под Самарой, где и зачал в законном браке с потомственной дворянкой Елизаветой Валентина, воспитанного по воле конца сороковых годов в сиротском доме под Москвой, неподалеку от деревни Трубино, также некогда принадлежавшей Голицыным. Этот сиротский дом располагался в полуразоренном их имении, которое хозяева из-за красоты мест и богатого для охоты леса решили построить здесь для проведения в нем охотничьих сезонов.

Лидия и Александр

На суде у апостолов Петра и Павла прошедшее представлялось четко и ясно, в подробностях и деталях, а совсем не так, как в людской памяти – клоками, комками и обрывками, да еще с большими вкраплениями неправды.

Оба они вид имели бледный и измученный, серые их плащаницы были не свежи, на голубой сорочке Петра, надетой под плащаницу, виднелись пятна от высохшего пота, а Павел от усталости постоянно погружался то в полузадумчивость, то в полузабытье, да так глубоко, что несколько раз даже обронил заветный ключик на ледяной мраморный пол приемной.

– Она тогда, конечно, могла выйти замуж за Александра, Сашу Крейца, родить ему четверых детей – ведь так они, кажется, планировали? Построить большой дом, с салфетками, фортепьяно, bonjour madame, печь душистые пироги и уже в старости отирать пот со лба ему, Александру, почти что мученику, растерзанному толпой? – с зевком произнес Петр.

– Она могла. Послушаем его? – кивнул Павел.

– Ты хочешь позвать еще живого? Из его же прошлого? – вяло усомнился Петр.

– Прибежит как миленький, вот увидишь!

Он появился посреди комнаты в больших грубых башмаках, совсем еще мальчишка, с плохо стриженной челкой вдоль высокого, но плоского лба.

– Ты влюблен в нее? – поинтересовался Петр.

Он сбивчиво отвечает, по-мальчишески, едва удерживаясь в этой середине залы.

– Мой ангел, она мой ангел, – бормочет он. – Она оберегает меня, делает лучше. Она учит меня старым мудростям из книг, успокаивает, когда душа не на месте. Она чистит для меня апельсины.

Все это было так мило, по-домашнему, эти дети, Лидия и Александр. Она – с отменными вьющимися рыжими волосами, хрупкая, немного сутулая, он – во всем прямой, как его челка, спина, мысли.

– Посмотрим, – сказал апостол Павел, – что было бы, если бы Лидия тогда, в последнюю минуту, не отказалась от столь желаемого их семьями брака?

Он шевельнул воображаемым крылом, повторив излюбленный жест Михаила, и открыл большую маршрутную книгу. В комнате, где они заседали, стоял крепкий мужской дух, но ни они сами, ни тени, которые представляли пред их грозными очами, не чуяли его: свои духи не пахнут, да и кто будет принюхиваться?

– Ага, вот здесь. Они жили бы сейчас вот здесь, под Ливингстоуном в Нью-Джерси, крепкая православная эмигрантская семья, дети, – продолжил апостол Павел. – Он учитель русской литературы, она прекрасная мать, ничего для себя, все им, репетитор для отстающих по математике. А вот – среди ее учеников есть один, кажется, вундеркинд.

– Да черт с ним! Кому нужны эти вундеркинды! Из них растет один репей. Какие, говоришь, дети? – уточнил Петр, тоже шевельнув воображаемыми крылами.

– Ты чего мелешь-то, какой репей?! – Павлу от усталости казалось, что Петр совсем уже не сдерживает себя, не делает подобающего вида. – Дети... Семен, Анфиса, Дмитрий, Потап. Возможности у каждого, прямо скажем, очень неординарные: чистые души, свежие мысли, закаленные сердца. Семен, Анфиса, Дмитрий, Потап. Жалко, что не родились.

Александр растаял в воздухе и через мгновение появился опять, уже восемнадцатилетним.

– Почему она отказала тебе? – спросил Петр, не любивший смягчать неприятные вопросы. Это Павел вечно церемонился, лимонничал, искал формулировочки, а Петр, как назло, дергал за самые животрепещущие жилы, и Павлу казалось, что с удовольствием.

– Отец за год до этого умер от голодовки в тюрьме, – ответил Александр. – Я бегал по поручениям, носил письма заговорщикам, передавал лекарства – синьку, стрептоцид, делал что скажут – в память о папе. Иногда ехал через весь город, чтобы передать два куска простого мыла, такого же простого, как я сам.

– Почему она отказала тебе? – повторил свой вопрос Петр и гневно сверкнул очами. – Вы же грезили о будущем, молились и семьями встречали Рождество, каждый раз несущее в своем течении множество подводных камней, но и подсказок, подарков, поблажек.

– Она куда-то всегда бежала – петь, рисовать, учить математику, языки. Я оказался не тот, – грустно подытожил Александр. – Мрачный диссидент, маленький рычаг для чьего-то рывка.

– Бесы? – поинтересовался Павел у Петра.

– Жертвы, – ответил Петр и хихикнул. – Загляни в книгу будущего, я знаю, что нам нельзя, но ты не нагло пялся, а занырни только краешком глаза. Видишь, как он кончит? Отрежет голову Голощапову – и кинутся на него псы!

– О чем ты подумал, когда она сказала тебе, что не будет свадьбы, мечтой о которой ты жил четыре года? – как будто начал издавека Павел, даже и не покосившись в сторону запретной книги.

– Я умер тогда, как мой отец, но от другой муки и совсем в другой тюрьме. Я умер от боли вот здесь, – и он ткнул пальцем себя в грудь. – А тюрьма моя была здесь, – и он показал на свой лоб.

– Но воскрес же потом? – улыбнулся Петр. – Прямо полубог. Но от любви-то многие выздоравливают, ты не заносись.

– Воскрес, – вздохнул Александр. – И почувствовал на себе лицо, как оно у меня выросло.

– Скорбный лик, – уточнил Павел.

– Что тогда случилось? – обратился он доброжелательно к Лидии, незримо присутствовавшей при разговоре и обретшей зримые черты, только когда вопрос подошел к ней вплотную, залез в ухо и дотронулся, пройдя через внутренние лабиринты, до губ. Она была совсем уж седой, хотя сквозь эту седину угадывались когдатошняя рыжинка и худоба, бестелесность.

– Меня потрогал за волосы один человек и спросил: «Говорят, ты выходишь замуж?»

– И что ты ответила? – для проформы спросил Петр.

– Я сказала, что не знаю, – ответила Лидия. – А тот, кто потрогал, сказал, что раз не знаю, значит нет, не выхожу. Угостил апельсином, оторвав дольку от своей половинки. Свадьба была назначена на середину мая, вопреки дурным поверьям «в мае жениться – век маяться».

– Что это там у нас? – поинтересовался Павел и снова пошевелил воображаемым, но только одним правым крылом.

– Уже ищущу. Вот, кажется, вот этот, – радостно взвизгнул Петр. – Он был у нас два года назад. Помнишь его? Позвать?

– Да как ты его теперь позовешь, он ведь уже на покое. Только облик.

Они увидели старца с ясным ликом, который, заметив Лидию, махнул рукой, пытаясь отогнать ее тень.

– Замолил, – констатировал Петр. – Мучился страстью, терзался, но не лукавил, никакого не нанес урона ни детям своим, ни роду, пережил, как огонь, сгорел, но не дотла. Не люблю таких!

– Он потрогал меня за волосы, – вдруг заговорила Лидия, – неожиданно подойдя сзади, а через несколько дней, поздно вечером, когда уже никого не было в здании, в темноте коридора, ведущего в его рабочий кабинет, признался в любви. Я не могла даже знать, что он любил меня, я не могла даже знать, что почувствую в себе другую себя, которая не жила дальше, а прежней Лидии с этой минуты больше не стало. Это был гром, который парализует, прежде чем убить.

– Что есть в архиве? – спросил Павел, явно занимая сторону Лидии. – Ведь что-то же должно быть?

– Да, – сухо ответил Петр, стараясь повнимательней посмотреть на подсудимую. – Да, есть. Магия.

Они встречались все лето, осень и зиму, под зимними лунами, не чувствуя земли замороженными ногами. Он, будучи много старше, стоял часами под ее окнами, зная, что оттуда на него глядят и ее мать, втайне удовлетворенная отставкой Александра, и ее брат, и две сестры, и отец, и старая подслеповатая бабушка, мать отца. На него глядели четырнадцать глаз разной зоркости и проницательности видения, а он все стоял, ловя разгоряченным нутром снежинки, осколки льда, падающие с неба, воду дождей.

Она выбегала к нему, хватала еще полудетскими ручками его ледяного, чтобы вести в парки, на скамейки, в чужие подъезды, кинотеатры, на вечные остановки каких-то номеров, где всегда пахло дымом, отчаянием, скукой, усталостью и в конечном счете пустотой.

– Если ты сейчас скажешь мне, чтобы я все бросил и был с тобой, если скажешь, я так и сделаю, – твердил он.

– Ты бросишь детей и жену? – уточняла Лидия.

– Да, – отвечал он. – А еще – свою работу, свой дом и свою судьбу.

Лидия очнулась, увидев, что он перекладывает всю тяжесть решения на нее. Сколько ей было тогда? Девятнадцать. Что видела она до этого в жизни? Мать, учительницу математики, надрывающуюся на двух ставках, пьющего отца, некогда светлую голову, инженера, так и не нашедшего для себя стези в проектировочном институте, рисующего на ватманах однотипные коробки домов. Унылую школьную жизнь, Сашку, влюбленного в нее до одури, оловянного солдата, не привыкшего ни к сладости мороженого, ни к бенгальским огням на Новый год. Ей, конечно, хотелось жизни, скатертей и запаха пирогов, подарков в хрустящей бумаге, но вот так взять и рубануть сплеча: пошли! – она все-таки не смогла. Сама не знала почему.

Он возненавидел ее за то, что она ему так ничего на это и не ответила.

Колдовство.

– Как это, право слово, просто! – воскликнул Петр. – Колдовство...

– Да, конечно, – поддакнул Павел, – просто воля кого-то третьего, переведенная в свет и чистое электричество. Энергия и ослепление. Мусорная бесовская стряпня, огрызочный узор.

– Они никогда не видят, эти простые смертные, того, кто из засады смотрит на них в прицел, – кивнул Петр с укором в сторону Лидии. – Ей же было невдомек, что Александр – герой, зря ты, Паша, побрезговал заглянуть в конец истории! И кто-нибудь обязательно охотится на него, какая-нибудь небольшая нимфа или пария. Стреляет она в него, в обожашку, чтобы раздробить его закаленное сердце. Для них семя героев, да еще и из жертвенных – единственное сокровище, позволяющее продлить линию.

– Продолжаю, – прервал его Павел. – Они, эти двое, прозрели и возненавидели друг друга. Он ее – за отречение, за нежелание разделить ношу, а она его – за само это малодушное желание – разделить. Так было? – спросил он у Лидии.

– Он все время показывал мне, что я что-то должна, что мне легче, что я свободна. А я боялась брать на себя такое, не из страха, конечно, а по совести. Ведь был же на свете этот парень с челкой, которому я отказала.

– Их обоих разрывало на части невыносимо, – продолжал Павел. – Соблазнитель уехал в Африку изучать древние черепа, он как антрополог много там накопил всякого барахла и нафантазировал потом с три короба, а она в муках адовых в одно прикосновение соблазнила его друга – она, слышавшая недотрогой, да, в общем-то, и бывшая ею. Соблазнила, отдалась, даже не вскрикнув от боли, когда он, венчанный, причащенный, клятву дававший, прошел в ее лоно и навсегда оставил в нем свой след.

– Вызываем? – предложил Петр.

Он появился среди комнаты, взъерошенный, отмахиваясь от чего-то, как от дурного сна. Тянулся рукой за очками к прикроватной тумбочке, которой не было. Пожилой, седовласый, с благородным разрезом глаз, с добрыми складками на щеках, на которых, как на петлях, крепилась улыбка, обычно распаивавшаяся в пол-лица.

– Сука! – вдруг вскричал он, увидев Лидию. – Гадина! Тварь!

– Он бесится, что она родила от него, даже не спросив на то его согласия. Он-то ведь тоже отец семейства. Четверо детей, еврейский клан, – уточнил Павел.

– Евреи, – жеманно вздохнул Петр, – им все-таки можно на стороне.

– Не скабрезничай! – сделал ему замечание Павел.

– Почему ты, отец семейства, карьерист, полез в это пекло, – почти что вскричал Петр, подальше пряча ключи, доверенные ему на хранение.

– Колдовство? – обратил он свой вопрос Павлу, который как раз вертел досье Лидии в руках.

– Да, – кивнул тот, что-то быстро пробегая глазами. – Но простенькое, замешанное на мести, с ее стороны.

– Ты преднамеренно соблазнила отца семейства? Зачала и родила от него без его на то согласия? – спросил Петр ледяным голосом. – Но зачем ты пошла на это, зачем? Если отошла от греха, будучи околдованной?

– Чтобы унять боль, – спокойно сказала Лидия. – Только грех так быстро утоляет боль, ведь того, кто потрогал меня за волосы, я любила по-настоящему.

– Все понятно, – сказал Павел, захлопывая досье. – Я считаю, что с ней все ясно.

– погоди, – не согласился Петр, все больше входя во вкус. – А что было дальше с этим? – он показал в сторону только что исчезнувшего с середины комнаты старичка со складочками для улыбки, осерчавшего при виде Лидии.

– Да ничего. Остепенился, спрятался, пригрелся, притерся, размазался. Тихо сидит. Тоже, я думаю, отмолит.

– Не отмолит, – уверенно сказал Петр.

– Ладно, что там дальше? – хором затараторили они, один вперся в досье, другой – в стоящую перед ними тень Лидии.

– Какие дети у ее первого соблазненного? – спросил Павел.

– Не имеет значения, – возразил Петр, – они все брачные, и по ним здесь разбирательства нет. Даже скучно.

– А у этого второго? – дотошничал Павел.

– У Лидии, – сказал Петр, – три девочки: Ханна, Елизавета и Екатерина. Все три – дети случая, все внебрачные, от женатых отцов, но каких-то совсем некудышних, так что без всякой корысти. И – заметь – ни одной искореженной судьбы.

– Объяснишь? – тихо попросил Павел Лидию.

– Сама не понимаю, – обреченно вздохнула она. – Что-то искала, но ничего не нашла.

– Хорошо, – твердо сказал Петр. – Пусть попробует еще раз. Но если снова будет то же самое, тогда – в ад.

Они вернули ее назад в реанимационную палату, куда скорая спешно доставила почти уже безжизненное тело после удара молнии. Гуляла с дочерьми в лесу, а тут гроза, и она решила, что добежит через поле до деревенского домика, куда сердобольные друзья пустили ее с подросшими уже девочками отдохнуть на лето. Она задышала, очнулась, открыла глаза.

– Господи! – воскликнула Лидия, придя в себя. – Где я?

– Что это у тебя на шее? – спросил Павел Петра, когда Лидия растаяла в воздухе и они снова остались одни. Или мне мерещится?

– Мое распятие, – ответил Петр со смущением и густо покраснел. – А ты хочешь, чтобы я носил его распятие? Но разве мои муки были меньше его мук? Ты считаешь, что Нерон пожалел меня, распнув головой вниз?

– Ты рассуждаешь как еретик, – не выдержал Павел. Но где ты раздобыл свой перевернутый крест?

– Плохи наши дела, – заключил Павел, – искушают тебя. Сними ты эту несуразицу с шеи. Не нужно мериться пытками. Бог один.

Прадед Лидии Калиновской был родом из деревни Мостовляны и происходил из семьи безземельного шляхтича Семена Стефановича и его жены Вероники. При крещении в костеле ему дали два имени: Викентий и Константин. Прямым родственником Константина (Викентия), окончившего юридическое отделение Санкт-Петербургского университета, и был первый возлюбленный Лидии – Александр, знавший о революционной деятельности своего прадеда, о его участии в «Земле и воле», но ничего не знавший о своем родстве с Лидией. Александр восходил к роду известной революционной террористки, закончившей пансион, где готовили гувернанток со знанием иностранных языков. Она была его прабабушкой, но это не было известно в их семье из-за его, Александра, бабушки, уничтожившей за немалые деньги сведения о всей родне, включая мать. Читая сочинения революционеров, Александр даже и не подозревал, что водит глазами по словам, подобранным его прабабкой, так никогда и не принявшей саму революцию.

Отцы других девочек происходили, по удивительному стечению обстоятельств, из местечка Глафировка, находящегося близ деревни Водяная Балка, что принадлежала подполковнику Кузьме Ивановичу (из бедных) и его жене Глафире Васильевне (из купцов). В местности этой ничего кроме малых гор и влажных склонов не было видно, а почва состояла из тучной черноватой глины с примесью песка, извести и перегноя, отчего она по сырой погоде делалась комковата. Их правнуки, непонятным для себя образом овладевшие Лидией, вытаскивали свои корни из этой некогда плодородной, но за последнее столетие сгнившей земли и пустили побеги в городах, где их дочери вспоминали их только формой носа да шириной скул, проявленных почему-то у тех, кто когда-то вышел из Водяной Балки.

Васса и Кир

– И вот после всех этих испытаний ты начинаешь понимать, что неразменной монетой является подлинная красота, величие духа, беспристрастный ум, который поставлен на службу великим, а не поддельным целям...

– Ну конечно, – соглашается Васса, – так все и было в моей молодости. Мне вообще не нужны были деньги.

В то время, которое упомянула Васса, разговаривая за чаем со своей старинной подругой, приехавшей из Америки погостить на пару недель, она была и вправду блистательно красива, в то время – пятьдесят лет назад, а не теперь, когда отгремел уже семидесятилетний юбилей.

Окончательно она заступила на свою стезю по чистой случайности. То есть все они, выпускницы лучшего медицинского института столицы 1960 года, были во многих отношениях хороши. Каждая примеривалась к высокому положению в медицинской практике или науке, и, казалось, немало перед каждой из них лежало проторенных путей. Но финальную точку в запуске Вассы именно на ее траекторию поставил случай, опять-таки связанный с красотой и особенными обстоятельствами, которые она, эта красота, вызывает.

Клара, ее однокурсница с огненными рыже-зелеными глазами и ворохом медных волос на голове, по всем раскладам должна была лет двенадцать спустя стать заведующей отделением, а может, и более того, в самой старинной московской неврологической клинике, но в нее, в молодого доктора, на случайном дне рождения накрепко влюбился Федор Проклов – тот самый, что происходил из могущественной столичной генеральской семьи. Она успела проработать всего шесть лет, но за эти шесть лет не было в неврологическом мире ни одного ординатора, ни одного хирурга, ни одного практикующего специалиста, ни одного профессора и даже большого медицинского начальника, который не прослышал бы о ее чудесном медицинском даре: казалось, она видит голову и спинной мозг пациента насквозь – лучше любого прибора, она видит не только само злодеяние болезни, но и ее корень, ее прогнозы на сто процентов безошибочны, и ее лечение действует почти магически, вопреки тому скепсису, который ее назначения поначалу вызвали у старших, умудренных опытом и первосортными знаниями коллег. «Наш Моцарт, наш гений!» – так величали ее многочисленные и почитатели, и завистники, произнося это с разной интонацией. Также величали ее и пациенты, готовые на все, лишь бы она хотя бы мельком взглянула на них.

Васса была не такова. Она знала все разумом, могла аргументировать, ссылаясь на авторитеты и слегка презирала Клару за ее легковесность, излишнюю для врача чувственность, игривость, безответственность. Васса шла твердой поступью, она блестяще защитилась уже через четыре года после окончания института, но имя ее не звенело так звонко, как Кларино, да и кабинета в Институте неврологии ей никто не дал, а Кларе – дали, потому что иначе от толпы больных и родственников, вечно преследовавших Клару, было не скрыться.

Но Клару невыразимо и неотвратимо быстро окружил совсем другой ветер, который никогда не проносится по больничным коридорам, он увлек ее совсем к другим небесам, а может быть, и вовсе не ветер это был, а водоворот, только тогда различить это было совсем невозможно, потому что не разобрать было в такой свистопляске ничего, кроме мелькания дней. Ее имя сразу же вспыхнуло ювелирным огнем на совершенно иных, теперь уже медовых устах, они безостановочно тараторили, производя на свет тысячи подробностей, истинное существование которых не имело значения. «Она врач? Да какой она врач! Разве хорошенькие девушки могут грезить о чужих недугах и физической боли?»

Кто же подтолкнул ее в объятия Федора, отчаянно хотевшего ей парижских серег, заказывавшего театральные ложи, перевозящего в своей прекрасной кремовой «Волге» отрезки первоклассного крепдешина? Важно это?

Он кружил вокруг нее, кружил в горячем желании спаять воедино их имена «Федор и Клара», и так и происходило, имена сплавлялись и стали совсем уже редко звучать по отдельности.

Клара ушла со своего пути, от своих пациентов с Паркинсоном, рассеянным склерозом, защемленными позвонками, инсультами. Она стала женой, потом матерью, потом брошенной женой, но это было уже не здесь, не на этих улицах, не под этими потолками, а в другой далекой стране, где Федор восседал в начальственном кресле торгового представительства и помогал крупному российскому золотодобытчику с голливудским именем получать лицензию на разработку очередного месторождения. Через двадцать семь лет она вошла в свою последнюю ипостась онкологической больной и уже несколько лет как не присутствует вовсе – только на фотографиях детей и друзей, запечатлевших момент, когда Клара была еще жива.

Ее возможная жизнь досталась Вассе. Васса не раздумывая заняла ее кабинет, смела с ее стола «мишуру, недостойную серьезного человека», шагнула, сломала перегородку, разделявшую две рядом идущие по первоначальному замыслу судьбы, и твердо встала обеими ногами на теперь уже ее путь – великолепного доктора и главной надежды научного медицинского света. И должность, она получила и должность! А вместе с ней – восторги, почитание, преклонение, обожествление присевшего у ног страждущего мира.

Чужая колея подошла ей как нельзя лучше.

Она вышла из потомственной медицинской семьи со звучной фамилией Богомолы – дерзкая, самоуверенная, категоричная, отчетливо знающая, что то, что другим нужно нарабатывать кропотливым и долгим трудом, у нее априори есть – и в генах, и в имени.

Она тоже, как и Клара, была красавицей, сероглазая, с прямым носом, высоким благородным лбом и тонкими губами, статная, и ее истоиво обожали как в семье, так и чужие люди, поначалу чаявшие обрести через нее спасение или рядом с ней какую-то свою судьбу.

В нее влюблялись юноши и зрелые мужчины, но, в отличие от Клариного, сердце ее оставалось твердым, а воздыхания влюбленных вызывали в ней лишь презрение к ним и зуд насмешки.

Как же она издевалась над подраненными сердцами!

Назначит, бывало, свидание, а сама не подходит к условленному месту, любителю со стороны, как поклонник наворачивает, поглядывая на часы, круги – и через час или больше отчаянно взмахивает рукой и побито так уходит прочь.

Она никогда не подходила к жертве, попавшейся в западню.

– Слабак, – мысленно адресовала она ему в спину дежурное его именование – и еще крепче сжимала в кулак левую руку, на ладони которой всякий раз оживали и шевелились линии, намекающие на дальнейший ход событий. – Такие товарищи нам не нужны.

– Может ли красивая женщина быть хорошим врачом?

Этот вопрос, сам факт которого содержал в себе ответ, происходит от завистников Вассы, терзавшихся даже не столько положением ее, сколько успехом у пациентов.

Успех? Что такое успех? Излечение? Обретение руки, которую хочется и не стыдно лизать?

Отнюдь нет.

Васса была немногословна.

Когда больной изливался в жалобах, она слушала одновременно внимательно и чуть-чуть безразлично.

«Остался ли в этом больном человек? – с раздражением спрашивала она себя, – или немота и страх раздавили в нем характер?»

Среди всех пациентов она очевидно предпочитала расквашенных инсультом. Эти мычание, волочащие за собой свои собственные тела были единственными, к кому она прислушивалась и сердцем.

– А что Паркинсон или эпилепсия? Чего здесь лечить?! Это же судьба, – любила уже в более зрелые годы констатировать она.

Она, кажется, видела воочию лопнувший мозг. Старалась не через приборы, а прямым зрением углядеть линию разлома, куда безвозвратно валились разорванные мысли и разъятые со смыслом слова.

Она умела варить этот клей. Она порою могла доставать из обесмысленных голов вонзенные в них карающей рукой металлические спицы. Вонзенные, чтобы прекратился, остановился поток фальши и лжи, порождаемый этими головами, чтобы запнулся наконец извивающийся в безобразной пляске язык, чтобы встал наконец вызывающий тошноту и головокружение молотящий пустоту маятник дурного словоблудия и мыслеблудия, без которых теперь не живут города.

Но откуда в городах развелась эта болтовня, ползающая отдельно от выплевывающих ее ртов по широким проспектам, по электрическим проводам, извивающаяся в такт радиоволнам, рикошетиющая от спутников, наматывающих вокруг Земли свои блудливые орбиты?

От вечного городского безделья, от опустевших городских барачков, где вши и неприличные болезни наряду со зверской усталостью. Еще каких-то сто лет назад заставляли горлопанов держать язык за зубами, но нет больше ни барачков, ни дымящих мануфактур, ни лавок для заводского люда, ни битых жен, а есть пустопорожняя толкотня и облизывание вилок в гипсокартонных ресторациях и попахивающий отдушками онлайн, дающий кровь и умопомрачение тем, кто никак более не горожанин, а офисный микроорганизм, питающийся болтовней и выдающий ее же в кал.

Понимала ли Васса, что это разъятие мозга – Божья кара? Знала ли она, что причины мычания связаны исключительно с оскотиниванием тех, кому изначально были дарованы слова?

Конечно нет.

Васса верила в нервы. В сосуды. В анализы, химию, но не алхимию. Она тягалась с небесами в безнадежной гордыне, она хотела исправить их приговор, остановить разрушение, заставить унизительную смерть пронестись мимо. Или по меньшей мере – заменить казнь ссылкой, условным сроком.

Васса, шагающая по Кларину пути на высоких каблуках, почувствовала сбой в своей внутренней программе лишь однажды, когда один еврейский доктор средней руки пролез ей в голову, а также в сердце с черного хода: он был шутник с огромными светящимися глазами и той самой смиренной манерой жить, с которой ничего уже не поделаешь.

Они были любовниками двадцать лет. Она – Васса, наполненная бурлящей польско-итальянско-русской кровью, и он, Майер, еврей до мозга костей и по бабушке, и по дедушке, и по собаке таксе.

Он опирался на ее волю и гордыню, чтобы, несмотря на разразившуюся в нем страсть, прожить жизнь правильно: уехать в Израиль с женой и двумя дочерьми, оставив сильной Вассе только одну свою фотографию в кружевной серебряной рамке, которую та всегда держала на своем рабочем столе.

Перед смертью через знакомых, которые ехали из Иерусалима в Москву, он передал Вассе пачку писем, которые писал ей все годы их разлуки, но не отправлял. Так они договорились – ни одного письма, никакого крика, чтобы расстояние не дразнило возможностью преодоления его. Она сожгла их в пепельнице одно за другим, не читая.

Как они любили друг друга?

Словно сговорившись, весело, празднично, и искрящаяся страсть, втиснутая в рамки двух-трех часов редких свиданий, умело плясала под дудочку их ироничных и беспощадных к самим себе взглядов на жизнь.

Он легко умер в своей постели от остановки сердца в самом центре Иерусалима, перечитывая на сон грядущий чеховских «Трех сестер». Он носил фотографию Вассы всегда в нагрудном кармане, и первое, что сделала его жена, пожилая уже женщина, когда утром вошла в комнату и увидела труп, – вынула фотографию и, изорвав на кусочки, вышвырнула ее прочь из дома через окно. Душа Майера, отлетая в положенный день от земли, сделала круг по его любимому маршруту: пролетела над Масличной горой, Геенной Огненной и заглянула к Вассе на огонек, в ее увешанную старыми фото квартиру в старинном кривом переулке, мерно похрапывающей под треск любимой ночной радиостанции. Спала она крепко, зная, что в любой момент сон ее может быть прерван телефонным звонком.

Был он прерван звонком и сейчас, хотя утро было самое что ни на есть позднее. Но день был воскресный, всю ночь она читала научную литературу и уснула только под утро, зная, что вставать ей на работу будет не нужно.

– Прости, Васса, это Кира, – голос в трубке дрожал и трепыхался, что Васса одновременно и ненавидела, и обожала, – ты знаешь, без экстренной необходимости я бы не позвонила тебе! Скорая уже была, но ты сама понимаешь, они – конченные идиоты и ничего не понимают.

– Говори.

– Он мычит и ничего не сообщает.

– Кир?

– Да.

– Рассказывай подробно.

Кира плакала, рассказывала сбивчиво, все время прокручивая туда, назад, воображаемую запись вчерашнего вечера, в которой были большие пропуски и по ее вине, и по причинам объективным.

Если бы она могла восстановить точный ход событий, то выглядело бы это так.

– Война как феномен, кажется, уходит в прошлое, – проговорил Кир, ее муж (тот самый Кир, что сыграл преподлую роль по время случившегося много лет назад потешного переворота) за несколько минут до того, как в его мозгу натянулась и с отчетливым звуком «дзыньк» лопнула важнейшая струна, соединявшая в речевой зоне мозга два важных участка. – Уже невозможно представить себе, как на огромном поле сходятся орды озверевших мужчин, чтобы искромсать друг друга на куски мяса.

Он потянулся за зажигалкой, чтобы прикурить совсем уже остывшую трубку.

«Дзыньк! Дзыньк!»

Напоследок обеда глазами комнату, он скользнул взглядом по фото на стене: он, Васса, Майер, Клара, Федор. «Двое из пяти – того», – успел подумать он.

Кир обмяк в кресле, как будто от усталости прикрыв глаза. Не прикурив, даже не чиркнув, даже не крутанув колесика, которое должно было высечь искру из кремня.

– Пойдемте на кухню, – позвала Кира Константиновна, жена Кира, знавшая всех столичных бесов по именам и даже именем своим подыгравшая ему как нельзя лучше, – пока он думает над вашим вопросом, мы с вами сварим кофейку.

Выходя из комнаты, она ласково потрепала мужа по голове, и они двинулись с гостем на кухню, где их новенькая домработница румыночка Анита, взятая взамен старой, столетней, доваривала третий таз клубничного варенья.

– С этой дачей столько хлопот, – улыбнулась Кира Константиновна, – мы получили дом сорок лет назад, и за это время я ни разу не присела! И эта вечная клубника в июле – запах головокружительный и цвет, но куда потом девать столько варенья? Признаюсь вам – у нас забит весь подвал, не только прошлогодним, но и позапрошлогодним, но я варю, а что поде-лаешь. Чувствуете аромат? Да, кстати, а как вы стали журналистом? Давно пишете об ученых, об историках?

Ответа не случилось. На кухню, ковыляя, вошла старая одышливая спаниелиха и принялась с нелепым чмоканьем облизывать и без того уже начисто вылизанную миску.

– Пошла вон отсюда, – неожиданно заорала на нее Кира, – вот гадина, ходит здесь, воняет, слюной капает. Ненавижу эту тварюгу. Это Кир ее обожает, видите ли, – смягчившись добавила она, поймав на себе удивленный взгляд молодого человека.

Они вернулись в гостиную – просторную и захламленную одновременно, как это часто бывает на подмосковных старых дачах, и принялись разливать кофе.

– Кажется, он заснул, – шепотом произнесла Кира Константиновна, – умаялся сегодня, все утро просидел за работой.

– Ох, и я умаялся, – развздохался молодой человек, – добирался до вас по пробкам целых четыре часа, хотя, если по-хорошему, тут и ехать-то не больше сорока минут.

Он достал телефон, сощурился:

– У вас тут интернет не ловит, что ли? Мне бы надо почту быстренько проверить.

– Подойдите вон к тому окну, – посоветовала Кира, – там лучше всего ловит, я всегда туда иду с ноутбуком, когда мне что-то нужно посмотреть.

– Вам?

«Дзыньк», – сказал в последний раз мозг Кира, уже не ему, совсем отключенному, а ей, в надежде, что она подойдет к волшебному окну и услышит сигнал, поставит чашку, забудет тревогу и спасет в этой голове хотя бы что-то из того, что там можно еще спасти.

«Иди туда, к нему, иди, – попросил ее и вошедшая в комнату одышливая шелудивая спаниелиха Тоби, – ну что ты сидишь здесь, когда он там почти уже умер».

– Да, в городе невозможно, – согласилась Кира, – так что же вы, так и будете писать о других? Вы ведь не так уж молоды, молодой человек. Не пора ли написать о себе?

– Я пишу и свое тоже, – смущенно проговорил он, – все это так, для заработка.

Он смутился, услышав свои собственные слова.

Кира Константиновна запричитала: она так и знала, так и знала, сразу увидела, вы даже не представляете, молодой человек, сколько на вашем месте, буквально на вашем месте, сидело будущих гениев в самых разных областях человеческой деятельности.

– Бегите из города, – неожиданно для себя самой заключила она, – мыслителям там делать нечего, те, что там водились, давно уже перевелись. Там нужно шоу, на худой конец ток-шоу, там люди давным-давно повтыкали в себя электрические провода и блаженно дергаются от этого. Идите к нам секретарем – будете помогать разбирать архив, делать кое-какую работу по хозяйству, летом траву стричь, зимой снег убирать – и будет из вас толк!

Они поговорили.

Молодой человек все благодарил и смущался, через силу гладил вонючего пса, как-то все-таки пробравшегося, несмотря на закрытую дверь, к ним, старался показаться воспитанным и очень интеллигентным, чтобы и себя утешить мыслью, что вот и отдохну за городом, хотя какой это отдых! Прорвался для разговора к Киру, а угодил в лапы его жены. «О чем же он будет писать в статье? Повод-то надежный, грядущее семидесятилетие, опубликуют и гонорар заплатят без задержки. А тут... эх... А не пристаёт ли к нему старушка?»

Когда они выходили из гостиной в коридор, Кир незаметно сполз набок. Его жена проводила гостя к выходу мимо пышущей ароматами кухни, скинула тапочки – шелковые синие с розовыми фазанами – и босиком отправилась провожать гостя под трескотню цикад и отчаянные ароматы цветущего табака.

– Она хочет с ним спариться! – горлопанила одна отчаянно крикливая цикада, – она заманивает молодых самцов.

– Дура ты, – отвечала ей другая, с соседнего куста, – у нее прошел возраст спаривания.

– Эти мерзоты спариваются чем хочешь, головой, руками, ногами, – надрывно орала первая, – и дура у нас в этом ареале ты и только ты!!!

– Приходите завтра, – сказала Кира журналисту вместо слов прощания.

«Странный этот Кир, – подумал молодой человек, вливаясь в вереницу машин, образовавших пробку в обратную сторону, – может, наркоман? Выключился, и все».

Он, конечно, ничего не понял наутро, когда открыл глаза и о чем-то стал говорить Кире.

Он увидел, что они с домработницей Анитой (она рассказывала о себе, что была медсестрой) разложили его на полу и всячески пытались зафиксировать его голову на высокой подушке.

– Когда, ты говоришь, его нашла? – спрашивала Кира, – Господи, какая же я дура, что вчера так больше и не заглянула к нему.

Он стал говорить Кире, что, кажется, чем-то отравился, так намаялся последние дни с животом. А вчера почувствовал от запаха кофе особенную дурноту, а потом треск, а потом разбился сам в своей голове, словно зеркало, и рассыпался на кусочки.

Кира и домработница глядя на него, разрыдались.

Скорая стояла в пробке.

– Молодой человек, вы сейчас не приезжайте, у Кира инсульт, он потерял речь. Я сама наберу вас, когда откроется возможность.

Увидев медсестру, Кир попросил у нее воды.

Она кивнула, задрала ему рукав и вонзила иглу в голубую вену на сгибе локтя. Боль была, но он ее не почувствовал.

Только через час после бессмысленного визита скорой в комнату вошла Васса.

– Здравствуй, Кир, – спокойно сказала она, – не пытайся мне ответить, ты не можешь говорить.

– Кира, – закричал он, – зачем ты позвала ее? Я что, просил? Добить меня хочешь?

– Вот видишь, Кир, я же говорила, ты не можешь говорить. Не мычи, ты же не корова. Я заберу тебя, положу к себе. Но ты, я надеюсь, помнишь, что я не люблю капризов. Выскочишь, если умеешь прыгать.

Он лежал перед ней распластанный, плохо пахнущий, не понятый и отчего-то очень обиженный.

Она стояла перед ним в белых облегающих брюках, белой же майке с большим вырезом и скрещенными руками на груди. Прямая спина, кольца с крупными камнями, золотая оправа очков.

Ох, какие же между ними были счеты!

За свою, теперь уже можно сказать, долгую жизнь Кир множество раз подходил к опасной черте, разделяющей этот мир и тот, и каждый раз на этой черте сталкивался лоб в лоб с Вассой. Васса как будто дежурила у этой черты, еще в молодости возглавив реанимационное отделение в клинике, где по много раз в сутки затянутые латексом человеческие пальцы копались в спящих химическим сном мозгах пациентов. Каждое утро она подписывала листок бумаги с забитыми на тот свет голами и пропущенными оттуда ударами. Этот футбол был ее обычной работой – она заводила сердца, заставляла легкие дышать, она мощно и уверенно ворочала погибающими телами, каждый раз бросая вызов ей, Матушке-с-косой, тем самым чувствуя особенное равенство с теми, кто вершит и решает.

Она судила людей. Разделяла на достойных и недостойных. Презирала в них страх перед болью и смертью. Васса нередко действовала по своему суду, как бы случайно задевая ногой за розетку, дающую ток аппарату искусственного дыхания. Она запросто могла разорвать жизненную нить, вмешаться в химию очередного малодостойного хлюпика, жадно цеплявшегося за жизнь.

Первый раз Кир чуть не погиб, будучи мальчиком. Он почти утонул в озере, пока взрослые на берегу с увлечением играли в дурака. Васса тогда переходила в третий класс и увлеченно диагностировала вши у своих одноклассников.

Во второй раз его ударило током, когда он был на летних сборах и неумело строил сви-нарник своими белоснежными руками, приученными выводить только персидскую вязь – он по заслугам считался лучшим студентом Института стран Азии и Африки, которого отрядили в военные лагеря, невзирая на его прилежную завербованность, свершившуюся еще на третьем курсе, вместе с первой любовью.

Он рассказал об этом эпизоде Вассе на дне рождения своего лучшего друга, который отчаянно влюбился в ее ближайшую подругу Клару, увлекшись ей самой – стальным блеском ее глаз, осанкой, гипотезой о ее нежном сердце, трепещущем под этим панцирем логики и циничного взгляда на жизнь.

– Да лучше бы ты погиб тогда, чем всю жизнь жить идиотом, – полоснула Васса шуткой, как лезвием, его сентиментальные воспоминания, которые вмиг от этого прикосновения скрючились и уползли в небытие.

Кир решил тогда, что ответит ей тем же, но через чувство, он сотрудничал в достижении своих целей с Klarой, быстро выскочившей за его приятеля, но Васса зло посмеялась над его, как она выразилась, «малодушием», так ни разу и не явившись на назначенное им свидание – ни в театр, ни на концерт, ни на семейный обед, хотя каждый раз игриво обнадеживала:

– Буду непременно, только ты жди.

В третий раз Кир дотронулся до заветной черты в Афганистане, куда был послан военным переводчиком. Его отряд с высоким начальством во главе, к которому он и был прикомандирован, попал в окружение и был полностью перебит.

Кир безупречно притворился мертвым, и когда через много часов счел безопасным шевельнуться и открыть глаза, то не обнаружил от этого последнего действия никакого эффекта – он почти что ослеп, попав с этим недугом напрямиком к Вассе, превратившейся в скалистую гору в пейзаже окружающих его человеческих отношений.

– Что, так сильно зажмурился? – пошутила она, откатывая собственноручно изможденного Кира, у которого от стресса все еще тряслись руки. – А молний на этот раз не было?

Он разозлился.

Она улыбнулась.

Она мерила ему давление, когда власть призвала его на создание новой партии.

– Ты или ври, или жри, – жестко сказала Васса, – и то и другое твой организм не выдержит. У тебя лишних сорок килограммов!

Он, как всегда, обиделся, но сладкое есть перестал.

Это же повторилось, когда на презентации его книги о чеченской войне неизвестные закидали его тухлыми яйцами.

– Диета, – сказала Васса уходя, – и в болтовне тоже. Твой характер слабее твоего конформизма. А то сдохнешь ведь.

Он посмотрел тогда на нее другими глазами: разнузданная красotka, правящая бал в борделе человеческой немоши.

– Знаешь, – ответил он ей, – ты тоже сдохнешь. И без вранья, и с твоей прямой спиной. На земле ведь еще никто не выживал.

Улыбнулся.

– Ну, договорились, – ответила Васса, словно не заметив ни его реплики, ни его улыбки. Ну да, он стал лицедеем.

Он говорил на заказ, он писал на заказ, он управлял вниманием людей, как фокусник, который достает голубя то из внутреннего кармана, то из-за шивороты зеваки в первом ряду. Он поначалу надеялся, что сможет говорить и свое, что сумеет пропихнуть, втиснуть в заданную линию свои парадоксы и горечь собственных наблюдений.

Он говорил слова. Писал слова. Изображал слова, дав в конце концов и им, и главному заказчику из числа правителей Пангеи полную волю. Слова открывали ему рот, расширяли или сужали его зрачки, вертели его головой.

Через три года он стал могучим заклинателем слов, для простоты слившись воедино со своим мнением, подсказанным ему извне, но ведь и он, и он подсказывал туда, наверх, каким должно быть мнение, в частности и его собственное. Значит, он тоже влиял, он был услышан, а не только выполнял команды!

Он очень близко подходил к власти.

Он видел пот на лбу власти, прыщи на ее носу, напряжение мысли, мятущееся в продольных лобных складках.

Он знал ее тревоги, тяготы, он знал дно и изнанку, из которой сплошь состояла Власть, скрытая от глаз.

Власть не церемонилась с ним, но ценила его талант.

Она дала ему взамен громкое имя, статус историка и философа, прекрасный загородный дом, в котором некогда жил знаменитый опальный поэт, деньги и ощущение избранности.

Он, конечно, замечал роящихся вокруг него мелких бесов.

«Вжик! Вжик!» – они то и дело сновали около его головы, иногда проходя насквозь.

Прогуливаясь взглядом по своей гигантской бумажной библиотеке – Кир по старой привычке не очень-то доверял электрическим словам и считал дело сделанным, только когда его мысли обретали бумажную плотность, – он не раз слышал их визгливое пение, поначалу успешно убеждая себя в том, что это выются над ним не бесы, а вечно охочее до крови, вечно голодное комарье.

Он складно жил с женой, на которой спешно женился по совету Вассы, вернувшись из Афганистана.

– Тебе нужен дистресс, женись вот на Кире, может, с глазами и выскочишь, – как-то однажды рассеянно сказала она после очередного анализа его энцефалограммы. – Давай, дружок, ударься немного током!

Кир отметил середину жизни яркой влюбленностью в одну необычную женщину, с которой познакомился в компании физиков – школьных друзей. Физиков также почитала и Васса, держа их в чем-то за равных себе. Она лечила многих опальных ученых, неизменно восхищавшихся ее красотой и мужским умом. Женщину эту звали Асах, она была кабардинкой и ходила за известным академиком, демонстрируя беспримерное самоотречение и почти что животную преданность ему.

Академик ушел счастливым, и Кир, сам того не замечая, завидовал ему, полагая, что тот или иной конец жизни дается или в награду, или в наказание. Асах, конечно, была наградой. И он, Кир, такой награды тоже жаждал – параллельной жизни с такой вот сказочной, мягкой, вечно молчащей женщиной.

Он обезумел от нее. Он словно подхватил чуму, бредил, снимал дачи, квартиры, отели, он просил ее читать ему, петь ему, растирать ему спину, он чувствовал себя рядом с ней титаном, героем войн, а не подпевалой, который достоин не более чем своей собственной жены.

Когда Кир охладел к Асах, случилось это вдруг, без всякой причины, надоела она ему, разонравилась, стала казаться дурой, да еще и высокопарной дурой, хотя он и понимал, что был неправ, что это гримасы возвращающегося к нему душевного здоровья – он помог ей уехать в Германию, в монастырь – так спокойнее и ему, и ей. Не разболтает лишнего, будет сыта и сможет красиво стареть.

Он как смог заморочил ей голову. Наплел историю о важных делах, закончив которые, они смогут на старости, держась за руки, смотреть на закат в Лозанне или Цюрихе. Он иногда просил ее о мелочах и, конечно, приучил писать короткие письма о своей теперешней жизни и о пациентах, достойных их общего внимания.

Узнав про Асах, теперь уже зовущуюся совсем другим именем и изменившую веру, Васса сказала Киру:

– Больше я не стану помогать тебе выживать. Ты не просто дурак, ты – вредный дурак. Сдохни хоть как человек.

Их поединок набирал силу. И состязались они во всем.

Васса была бессребреница. Кир тоже. Он, как и она, любил не деньги, а власть. Васса в качестве благодарности ценила только преданность, такую же звериную, как и страх. Ничто не могло заставить ее простить Кира за его проступок с Асах, никакое рассуждение не могло убедить ее в возможности оставить его в списке тех, кого она признавала. В списке достойных. По просьбе академика, чей авторитет был и в ее глазах безупречным, она когда-то помогла этой несчастной выносить прижитое ею внебрачное дитя, и тот факт, что Кир встал поперек ее доброго дела, был, помимо всего, откровенным вызовом ей.

Васса отвернулась от него публично. Она не говорила с ним, не соблюдала на людях приличий, резко обрубив все вопросы почти что медицинской констатацией: «Кто? Кир? Он для меня умер».

– Этим двоим тесен мир, – говорили о них общие знакомые.

Если бы Клара была жива, то поехать к столь тяжело заболевшему Киру попросила бы она. Она позвонила бы. Несмотря на то, что жили они с мужем далеко отсюда, в другой стране. Ей бы Васса не отказала. Но поскольку Клары среди людей уже не было, звонить пришлось Кире Константиновне. А что делать? Не до церемоний.

– Васса, послушай меня.

Кира была из тех женщин, в которых не было загадки, столь необходимой для интереса к ним мужчин. Единственное, чем она научилась с возрастом их приманивать, и был сам возраст. Вплоть до своего пятидесятилетия она провела рядом с Киром долгие годы, полные одиночества, давая ему единственное, на что была способна, – служение. И только вызрев до финальной точки, она почувствовала, что может привораживать мужчин, мужчин совсем молоденьких, как этот журналистик, именно этой своей обретенной загадкой – спелостью.

Кем овладевали они, страстно сходясь с ней? Матерью? Старшей сестрой? Запретом? Она загадывала загадки, они их разгадывали.

– Васса, у него инсульт.

Васса, конечно, презирала ее абсолютно, хотя и держалась рядом в силу логики времени, поместившей их на общих параллелях, называемых средой и эпохой.

– Это тебе за Асах, – сказала Васса вслед уносимому на носилках Киру, – страдай и думай об этом.

– Я дал ей судьбу, – ответил ей Кир, уже осознав, что слов его никто не понимает. – Я не боюсь смерти, Васса, я издохну, но не буду потакать тебе, гордячке, не буду пресмыкаться, чтобы ты спасала меня.

– Ну-ну, – хмыкнула Васса, привычно разобрав его речь. – Герой...

– Ты захочешь смерти, – поймала его не сказанную мысль, – но не получишь ее. Наберись терпения, Кир...

Васса опомнилась: словесно и мысленно казнить больного противоречило ее принципам.

Кир не хотел, чтобы его несли.

Но его несли.

Он не хотел ехать, но куда-то ехал.

Он не хотел лежать в этой комнате, именуемой палатой, но его уложили.

Он чувствовал обиду, агрессию, бессилие много дней, пока не осознал, что никто больше, кроме Вассы, не слышит его, и теперь он не только бессилен, но и полностью, абсолютно одинок.

«Что же происходит в моей голове? – спрашивал себя Кир в редкие минуты, когда был в состоянии спрашивать себя. – Что я делал со своим мозгом все эти годы, что он так одномоментно и подло подвел меня? Неужели способ ухода – это расплата?»

Кир распадался. Как распадался и мир в его голове. Краски, образы, слова, лица – все это временами превращалось в злобно и уродливо накрошенный кем-то винегрет. Он чувствовал отчаянье, страх, приступы нестерпимой тоски. Временами он плакал. Нечуткая чужая воля угнетала его. Он просил, чтобы к нему пришел такой-то, а приходил совсем другой, чашка чая казалась ему чашей с кровью, он отталкивал ее, но ему ее насильно пихали в рот, иногда он часами лежал в собственном кале или моче, морщась от мерзости подгузника, но никому и в голову не приходило помыть его и переменить пеленку – вместо этого ему принимались читать вслух или включали писклявого Моцарта. Он начал бояться Вассы, дававшей ему безупречное лечение, но не сочувствие.

Через месяц он смог встать. Еще через месяц он окончательно смирился, что не будет услышан. Еще через месяц он отгородился от всего мира своей на него обидой до небес. Он изображал еще большую немощь, чем была у него, еще большее слабоумие, чем то, что породило в нем излияние крови. Он мычал, громко пукал, рыгал не прикрываясь, общался с миром только через кривые галочки, которые он якобы с усилием ставил напротив интересующих его телевизионных программ.

За что ему?

Он вдруг стал видеть некоторые части своего тела, действующие по собственной воле. Вот рука хватает и хватает пирожное, а он злится на эту алчную руку, куда ему, и так заплыл жиром!

За что ему?

Вот он жрет и жрет, обляпываясь едой, и гадит одновременно, и никому нет до этого дела.

За что ему?

Сиделка ненавидит его, но якобы заботливо укрывает ноги пледом: его жизнь – ее деньги.

Столь верно служившая ему все эти годы Кира, служившая подругой, советчицей, редактором, секретарем, курьером – закрывает глаза на то, как унижают его, некогда такого нужного, но теперь бесполезно замолчавшего оракула.

Оракул молчит. Он сломался. Ему больше ничего не положено.

Эх.

Прямо перед тем как шагнуть вон из окна подмосковной дачи, с первого этажа ее – Кир просто перепутал оконный проем с дверным, – он вспомнил, как говорил речь на митинге, сплошь состоящую из глумления и вранья. Он вспомнил, как полюбил Асах, здорово забывшись, и потом очнулся, и как маялся потом, утешаясь лишь осознанием своей силы и хвального чувства равновесия. Он вспомнил также молоденьких птенцов, вившихся вокруг Киры, которые были по факту безопасны для него, а поэтому привечаемы. И даже этот, как его, биограф, журналист, ведь это же его спина мелькает иногда в коридоре, ведь это же он разбирает теперь в кабинете его архив?

Он вспомнил даже молодые глаза Вассы – не такие, как теперь, а веселые, без морщин и набрякших век, он вспомнил звук ее молодого смеха, кручение дыма ее сигареты, по которому они, еще пацаны, пытались угадывать будущее: даст, не даст. Не серьезно, конечно. Да и что такого люди нашли в этом «даст»?

Он мысленно пробежался по небылицам, сплетенным им за всю его, как ему теперь помешалось, бесконечно долгую жизнь, он ощутил пронзительную тоску от того, что за все это время так ни разу и не обрюхатил Киру, вечно теща и ее небылицами, но только другого разлива.

Он что, врал?

Он врал, а слова не ввали?

Кто из них врал и кто отвечает за это?

Нет, не перед Вассой!

Кир твердо знал, что неподсуден. Он знал, что не существует на свете никого, кто мог бы упрекнуть его в бесконечной лжи. И никакая Васса ему не судья, никакой человек.

Кир разбил себе лицо и сломал палец.

И когда Васса, не глядя на него, заклеивала раны пластырем, он сосредоточился до предела и послал ей мысленную мольбу:

– Помоги.

– Не было приказа, – рассеянно произнесла вслух Васса, обращаясь то ли к нему, то ли к кому-то еще, кто мог бы передать ей эти слова.

Но передать никто не мог, не было никого на свете, кроме него, распластанного на кровати, Киры, щебечущей с молодым человеком за чаем о клубничном варенье, сиделки, готовящейся после перевязки кормить его кашей.

– Каши пока не надо, – сухо сказал Васса, – я сделаю ему укол, пусть поспит.

Кир пролежал так еще десять лет.

Васса следующей зимой поскользнулась на ступеньках своего дома и отравилась таблетками, узнав, какой характер носит ее травма, оставив записку с коротким «Подите вон!», адресованную неизвестно кому.

Васса вышла из семьи польских деловых людей, поднявшихся с самого низа. Прапрадед ее был каменщиком и уже в зрелом возрасте, проявив усердие, выучился калькуляции. Ее бабушка помогала своему отцу во время Первой мировой войны содержать небольшой магазин, в котором даже в самые тяжелые времена можно было отыскать что-нибудь съестное.

Сразу после войны дед Вассы, слывший хорошим семьянином, влюбился в женщину с дурной репутацией, русскую, влюбился, совсем потеряв голову. Она поразила его тем, что, будучи искушенной в делах любви, разыгрывала невинность, каждый раз сбивая его с толку. Она то отдавалась ему со всей развратной страстью, то капризничала как девушка, которой это не то, а то не сяк. Несчастный никак не мог выбрать между женой и любовницей, метался от одной к другой, выбирая то долг, то страсть. Нервы его от этого совсем распались, и однажды он в припадке ярости накинулся на свою жену, бабушку Вассы, и по неосторожности задушил. Отец Вассы и ее тетушка – их дети – по странному стечению обстоятельств оказались в детской колонии в России: их, несмотря на иные обстоятельства, как сирот Первой мировой войны, оформили по договоренности родственников на вывоз в страну, где все было иначе. Их детский дом находился в Балашихе, куда впоследствии помещались многие дети репрессированных и расстрелянных белогвардейцев. Эти дети были обучены хорошим манерам и имели зачатки неплохого образования.

Оба они, и Вассин отец, и ее тетушка, поступили в московские медицинские институты, где усердно учились, вышли потом в хорошие доктора и обрели себе пары из потомственных врачебных семей.

Вассу привозили в Балашиху на лето, где ее отец обзавелся скромным брошенным домишком, оформленным с помощью высокого покровительства родителей жены. Васса дружила с белогвардейскими сиротами и позднее имела уважение лишь к выкованным бедой характерам и к исключительно одинокому образу жизни.

Отец Кира был из буржуазных немцев.

В молодости он сделал блестящую карьеру, занял пост руководителя крупного завода. Его родной брат основал в Кёльне радикальную религиозную секту, за что перед самой войной сел в тюрьму. Отец Кира отрестился от брата и после окончания университета написал серию блестящих статей по экономике, благодаря чему был замечен и приглашен на работу в президиум профильного Научно-исследовательского института. В 1939 году нацисты уволили его, отправили на фронт, считая экономику лженаукой. Отец Кира Аксель фон Гиббелин попал в

русский плен, да так и остался жить в СССР, сойдясь уже к концу сороковых с прекрасной девушкой Тамарой, от души пожалевшей его.

Род Тамары происходил из сельца Красное, что находится в десятке километров от Суханова. Сельцо это расположено на речке Мокрая Тобола, которая вместе с Сухой Тоболой впадает в Дон, чуть пониже деревни Куликовка, что находится на северном краю Куликова поля.

Многие из рода Тамары умерли от удара, предварительно онемев.

Участь эта постигла Ивана Михайловича Калмыкова, пораженного ударом в 1770 году, сыновей его Игната в 1834 году и Давида в 1841-м, их дочерей Дарью в 1861-м и Марину в 1872-м, а также из родни Федота Васильева в 1763-м, Лариона, умершего в 1790-м, Ивана Ермолова, Василия и Симеона, ушедших в рекруты в 1756 и в 1758 годах.

Конон

– Невероятно! После трех операций и трех химий...

Он потрогал себя под одеялом, повернул голову, потянулся к чьей-то спине – узкой, плоской от лунного света, потрогал за плечо, позвал шепотом:

– Саломея!

Очнулся: как она может быть рядом с ним, если сам он лежит укутанный, почти спеленатый, в реанимационной кровати-люльке, баюкающей его не хуже покойной бабушки Греты, к которой он, маленький, вечно просился на руки? Он был за многое признателен этой люльке, но вдвоем в ней никак не поместиться. Он опрокинул стакан с водой, включил свет, стал звать на помощь.

Никого.

Врач констатировал его смерть три четверти часа назад. Боковые поручни кровати опустили, лицо прикрыли простыней, форточку распахнули и оставили одного в кромешной тьме дожидаться еще неспешного в эту пору утра. Дверь снаружи приперли стулом: входить не нужно, назначения исполнять незачем, очередь за санитарями.

Конона привезли в старинный госпиталь при Меттенском аббатстве восемнадцатого апреля. Ясным прохладным днем, каких по весне в этом нижнебаварском царстве вечно цветущего хмеля предостаточно. Где-то уже мерещилась капустаница, но пейзаж еще был робок, зеленился без похабного размаха, щебетал вполголоса. Ну да, те же запахи, то же колыхание, только летом челюсти у муравьев покрепче и кусаются они не в пример больнее, да и летние комары совершеннейшие звери. Выбираясь с осторожностью из машины, он вспомнил тонюсенькие свои детские искусанные ножки и бабушку Грету с йодным тампоном в руке, настрого запрещавшую ему расчесывать рубцы и ругавшую за каждый отгрызенный заусенец.

Прибытие его выглядело торжественно, как и подобает больному его ранга и положения: кашалоты черных чемоданов тихо дышали – такой тонкой и настоящей была их кожа, лакированные коробки, перевязанные шелковыми лентами, сверкали прямыми спинами, отдельный кофр с книгами изо всех сил пах стариной, замки блестели, заклепки серебрились, змейки-молнии извивались, словно и не догадываясь, что для радости повода нет и впереди похороны, которые тоже, впрочем, будут царством красного дерева и самых различных кож. Вокруг чемоданов суежилась прислуга: молодой секретарь с внимательным, подозрительно гладким лицом, горничная-гречанка в зеленом цветастом сарафане (сколько раз, черт побери, он велел ей одеваться в однотонное), телохранители с мясистыми складчатыми затылками, в натянутых как на барабаны черных костюмах. Он чувствовал смертельную усталость. Его – маленького, крошечного на фоне этих чемоданов – вкатили в холл, он сидел, вцепившись в поручни, в темных очках, мертвенно-бледный, и молчал, желая только одного: расстрелять из автомата все, включая эти чемоданы, неподъемные даже для его мысли, а потом тихонечко лечь и заскулить без свидетелей.

Новость о его приближающемся конце мгновенно разнеслась по свету, обрастая зловещими подробностями. Проговорилась пустобрехая сестра его жены, которую он недолюбливал за мелкие, как речной жемчуг, зубы, всегда выскакивавшие наружу при улыбке. Дурное ее дыхание, перемешанное со словами, заполнило собой всю столицу, и с газетных листьев поползли во все стороны мерзкие черви, жрать и подтачивать то, что в тучные годы называлось его Золотой Империей.

«Оказывается, Конон смертен! – восклицали газетчики. – Вот это новость! Вот это заголовок!»

Восемнадцатое число было его врагом. Ровно шестьдесят лет назад отец повез маленького Конона в деревню смотреть, как рубят головы петухам. Шестьдесят лет назад? Он запом-

нил это навсегда, эту зверскую казнь: кончились запасы корма, и решено было порезать всех на заливное, на жаркое, на закрутку – перед летом будет в самый раз, а через месяц – взять новых цыпляток, и к осени на свежей, полной соков траве и подешевевшем перед новым урожаем пшене они превратятся в настоящих здоровяков, один только бульонный навар будет в два пальца толщиной.

Много позже, тоже восемнадцатого числа, когда щеки Конона подернулись первым пушком, он тискал пышнотелую одноклассницу в чьей-то захлавленной, приспособленной под молодой блуд квартире, строил из себя мастака, небрежничал, хотя до этого еще ни одна барышня не расставляла перед ним колен. Тут же крутился его дружок, напросился-таки с ним, хотел пощелкать, запечатлеть для вечности, и запечатлел: когда Конон уже залез к ней в трусы и другой рукой стал расстегивать ширинку, вдруг страшная икота обрушилась на него, грубая, неостановимая, с присвистом – так это и осталось на снимках: растерянность, замешательство и хохот. Над ним, конечно. Он хранил эти снимки: ее раззявленный рот, его растерянные глаза; потом он расквасил рожу этому фотографу.

Иного восемнадцатого погиб его друг, вскрыв себе вены на станции метро. Он здесь же повздорил с девушкой, натурщицей, худощавой безымянкой, и резко дернул лезвие, пряча черную кровь в рукаве дорогого пальто. Восемнадцатое – это кровь, окончательно заключил тогда Конон. Та самая, за которой уже нет слов. Последняя кровь.

Став могущественным, Конон начал отменять восемнадцатые числа.

Те, кто хотели быть сильнее его, ему их назначали. Но он уклонялся, как от летящей стрелы, уходил в сторону, чтобы дать несчастью пронестись мимо. Набирался сил, чтобы отменить их совсем.

На этот раз у него не вышло.

Из некогда могущественного – деньгами, характером, умением внушать любовь и подбострастие самой своей манерой мять в руках, как теплый пластилин, время, обстоятельства, помехи, волю других людей, статного, с черной, маслянистой шевелюрой и такими же черными маслянистыми глазами, крупным мясистым носом и подбородком, на котором быстрее обычного росла щетина, он превратился в подобие сухого мятого листка, доступного даже для слабого ветерка. «Кара», – думал Конон.

На своих дорогах, непременно ведущих в гору, Конон не раз встречал себе подобных, рвущихся наверх, но из всего этого множества Божьих эскизов и набросков сильных мира сего он был самым прорисованным, самым завершенным. Он давил всех.

Чем выше он восходил, тем совершеннее становилась армия его соперников, но он разрушал их изнутри, поселяясь в их слабостях, он действовал как болезнь, а не как сторонняя сила, кроша мощные позвоночники и возводя из пустых грудных клеток плацдарм для следующего подъема. Но теперь кто-то прошел в него. Кто-то пришел отомстить. Сожрать его самого с потрохами. Но как он прошел?

Были ли у него самого слабые места?

Вспыхивали ли в нем страстишки, дурел ли он от женского колдовства, толкающего к перемене участи?

Он не безумел.

Он никогда не ведал разрушительного действия страсти, никогда.

Он не искал ни славы, ни безмерного могущества, ни несметных богатств.

Бог дал ему первый золотой слиток. Полушутя по молодости он купил за гроши прииск в вечной мерзлоте, что-то подтолкнуло его тогда. Все потешались над ним – романтик, мечтатель! – а он протянул руку вдоль шевельнувшегося вдруг горизонта да и нащупал золотую гору под землей, а потом еще одну, и еще. Прикусил единственным точным движением клыка тех, кто пришел отнять у него его гору – и богачей, и бестолковых правителей. Он давил их ласка-

ючи, обводил вокруг пальца, захватывая со скоростью эпидемии новые золотиносные жилы и делая их решительно и всецело своими.

Его маленькая жена жила в страхе все эти годы. Считанные разы он замечал ее. Их жизнь, проведенная рядом, не имела почти никакой совместности. С этой некогда милой стриженной брюнеточкой, умевшей пристально и сосредоточенно слушать и смотреть, не поднимая глаз, он сходилсЯ лишь изредка, чтобы зачать сыновей.

Сейчас она сосредоточенно ступала черными туфельками по белому мрамору больничного пола. В холле пахло кофе, корицей и свежими булочками, от этого жизнерадостного аромата она ежилась, брюзжала: «Разложились с булками среди больных людей...» Мелодию утра она уловила точно: монастырский дух, царивший здесь, был густо перемешан со щебетанием сестер и шуточками санитаров, прием высокого пациента оказался не столь торжественным, как его прибытие.

«Вот оно, величие момента, – подумал Конон. – Фикция, как всякое величие».

Доктор взял Конона за руку.

– Я не боюсь, – улыбнулся Конон.

Доктор сказал несколько безупречных фраз, в которых, словно в водах великой Реки, плескалась и гримасничала тень великого асклепиада Гиппократa.

Конон никогда не искал опоры.

Это был урок первого восемнадцатого числа, когда петушиная кровь брызнула ему в лицо, и он в приступе рвоты попытался ухватиться за штанину отца.

Поддержки нет, тогда понял он, а ее иллюзия – ловушка, которую расставляет внутри тебя твой враг.

– Я не боюсь, – повторил он доктору.

– Это Саломея, – представил доктор женщину, вошедшую в комнату, забирая подписанную Кононом стопку бумаг, без которых скальпель не режет плоть. – Это ваша медсестра, она будет с вами почти всегда.

Саломея присела и кивнула.

– Монахиня, – продолжил доктор, – и наша лучшая сестра, она будет молиться за вас, а не только следить за телом.

– Но я не хочу монашку, – спокойно сказал Конон, – мне нужен понятный человек рядом.

– У вас есть общий язык, – спокойно сказал доктор. – Вы все поймете.

– Все?

У Саломеи были крутые бедра, округлый живот, не слишком выразительная грудь, тонкие губы, смуглая кожа, ореховые глаза. Она выглядела картинно. В ней были линии, стать, нижняя часть ее тела была тяжеловата, как и подобает женщинам ее породы, но от этого она казалась более устойчивой, соблазнительной, тугой. «Сколько ей, – подумал Конон, – сорок, шестьдесят? Не поймешь».

Как случилось, спрашивал себя Конон, что рядом со мной, истекающим жизнью, оказалась эта совершенно чужая мне женщина, пахнувшая миндалем?

По искрящемуся хитросплетению обстоятельств Саломея спустилась в этот немецкий госпиталь с кабардинских гор. Она выросла в большой семье, где детей, включая девочек, учили языкам по книгам из огромной библиотеки отца, занимавшей почти полностью второй этаж просторного дома на Эльбрусе. Саломея, как и сестры, ходила за овцами, стригла и валяла шерсть, знала, каким корешком растения повернуть на юг, как и рецепт воскрешающей в Рамадан халвы, и, конечно же, множество красивых многословных молитв на арабском языке.

Огромная река протекала мимо огромных гор, укрытых от Всевидящего ока не только жестким, как корка, Кораном, но и огромным распростертым небом, редко где подходившим так близко к земле, как здесь.

Она выучилась числам и русскому письму, что дало ей особый путь, начавшийся крошечной тропинкой от их хутора к знаменитой обсерватории, где лучшие мужчины из городов вглядывались в звезды. От них пахло непонятными мирами, полными опасностей, и когда отец, вопреки мнению матери, отпустил Саломею на приработки в эту обсерваторию, мать долго и протяжно выла в своей спальне среди пестрых ковров, воздевая руки к низкому небу.

Саломея стала работать среди других, приехавших из городов, женщин, они писали и считали цифры, говорили о пустяках, ели печенье и пили чай. Ее быстро полюбили и быстро возненавидели. Рыжеволосый нервный звездочет Михаил разглядел в ее ореховых глазах свет, затмивший для него небо.

Она маялась потом с девочкой, еле выносив ее в своем хрупком анемичном теле, проклятая домом и изгнанная злыми языками из комнаты с цифрами, коридоров, даже столовой, где тошнотворно, тем более для беременной, пахло хлоркой и непригодной едой. Она отдалась ему со всей ответственностью грехопадения, введя в ступор предварительной часовой молитвой и позой, с которой он не очень знал, что делать.

Его, рыжеволосого, возлюбленного Саломеей по науке самых потаенных книг из отцовской библиотеки, увезли избитым, со скрюченными за спиной руками в столицу на судилище. Он подписал пропитанный чужой желчью протест против Лота, сути которого она, конечно, понять не могла.

После его ареста Саломея не могла неделю есть. Небо раскололось над ее головой и никогда уже больше не прикрывало ее маленькую жизнь от грозно глядящего на нее ока.

Она, конечно, по многу раз выслушивала всех, кто хотел ей что-то сказать об этом. Она считала себя совсем уже падшей под этими набухшими, торчащими, как сосцы волчицы, звездами, почти что волочащимися по земле.

Кто только не воцарился к ней за долгие годы, что прошли между зачатием ее дочери до этого момента, когда восемнадцатого числа она увидела Конона! Какими разными были их души, тела, слова. Саломея пропустила через себя множество мужчин, пока главный ученый обсерватории, почтенный академик, совсем уже немощный старик, презрев по-змеиному шипящую жену, не увез ее с собой в столицу, чтобы, как он выразился, умирать рядом с ней.

Когда Саломея увидела Конона, она сразу поняла: он захочет ее обязательно, но она никогда не сможет не то чтобы пожалеть, но даже заметить его. Но почему? Она не знала.

– Ваша Саломея убивает Конона, – скажет короткое время спустя Софья Павловна, его жена.

– *Intimnije uslugi*, – переведет ей переводчик профессора, руководящего клиникой аббатства уже много лет, – *ne vhodiat v assortment nashej kliniki. Solomeja medicinskaya sestra iz ordena i prinuzdat ejo bolshoj greh.*

– Но почему бы ей не дать последнее утешение моему мужу? – возмущалась Софья Павловна. – Она монахиня, в ней должно быть призвание такого рода!

– Здесь не бордель! – в сердцах воскликнул доктор, но переводчик смягчил его отповедь.

– Она уже не молода для этого, – перевел он.

Конон почувствовал в ней плотность и густоту недр. Муть, тоску, силу, горечь, неостывающий жар. Он захотел глотнуть и зажмуриться, опьянеть, расхрабриться и напугать смерть. Он боялся невыразимо. Городские женщины, сделанные из воздуха, никогда не могли заставить его забыть о смерти, перестать бояться ее. Но Саломея смогла. Он забывался, находясь рядом с ней, без остатка, и отчаянные мысли о том, небытие может быть даже страшнее ада, уходили от него если не насовсем, то надолго: целыми днями глядел он на нее и не мог отвести глаз. Он мечтал увезти ее, ступить на совсем другой путь, лишь бы она была рядом и лишь бы Господь отпустил ему еще совсем немного жизни.

Он почувствовал эту подлинность сначала через салфетку, которой она брала стакан с водой, чтобы подать ему.

- Зачем салфетка? – спросил он.
- Ваш стакан должен быть чистым, – ответила она.
- А как вы можете его испачкать?
- На руках человека всегда грязь, – улыбнулась она.
- Как ты стала монашкой?

Конон бесконечно разглядывал инородную крутизну бедер, сильный, просто скроенный торс, безупречную шею.

– Привел один человек, могущественный, вроде вас. Хотел помочь. Кир. Кир Гиббелин. Вы не знали его?

– Знал, – кивнул Конон. – У тебя красивая шея.

Спокойно, словно самой себе сдавая экзамен на повторение, она в сотый раз за свою жизнь повторила:

– Ухаживать за шеей меня научил отец. Он говорил: «Вся красота женщины в шее. Умей держать ее, нести ее, ухаживать за ней».

Она рассказала ему об отце, его науке женской красоты, которую он преподавал всем трем своим дочерям. «Вы должны почувствовать, как смотрит мужчина, и тогда вы все поймете».

Саломея развлекала его, молилась за него, безупречно исполняя свой долг сиделки и медсестры и зная, что не даст души.

Никого дурного он не напоминал ей, ничем не был неприятен. Но его облик проходил сквозь ее сердце, не оставляя там ни малейшего следа, как и его слова. Смогла бы она почувствовать иное, если бы знала, что однажды их дети встретятся, что она будет причастна к этому и эта встреча будет важной и для них обоих, и для страны, которую она считала своей родиной? Может быть. Но она не знала.

Он расспрашивал.

Она отвечала.

Он трогал ее, дотрагивался жаркой ладонью до ее руки, но ее рука от этих прикосновений делалась ледяной.

– Когда я впервые осталась ночевать у Михаила в их общежитии при обсерватории, наутро у обрыва застрелился мой жених. У того самого, где мы еще детьми объяснялись друг другу в любви. Его тело из ущелья доставали больше недели, и все это время мы не знали, почему он там оказался. Наши семьи были дружны несколько столетий. Мой отец проклял меня и впервые увидел мою дочь, когда ей было семь лет.

Его воображение рисовало экзотические сцены их близости. Целуется ли она? Умеет ли она это делать так, как городские женщины? Или, может быть, только кусает губы, как дикарка?

Конечно, Конон пробовал всякую плоть. Когда открывал очередные маленькие офисы при приисках во льдах или пустынях. Он и его подельники отмечали эти «новые точки» напитками, дурманом и местными красавицами. Но никогда ни одна из них не заставляла его грезить.

– Странное имя – Саломея, – все время повторял Конон вслух, – настоящее?

– Мое настоящее имя Асах, – терпеливо повторяла ему Саломея, – но что это меняет? Чтобы меня приняли в монастырь, мне нужно было назвать себя по-другому и выучить другие молитвы, но разве слова могут изменить суть?

Он лежал часами неподвижно, делаясь все более легким и прозрачным под белоснежной простыней, и размышлял о прошедших годах. Что это был за сон? Что за игра? Разве он никогда не слышал о слабости, которая является к сильным напоследок? Когда не можешь двинуть рукой, когда салфетка кажется тяжелее могильной плиты.

Он не мог больше минуты заставить себя думать о семье и преемниках. Он сложил буквы в подпись, спихнув империю, силу свою и мощь на сына, носившего его же имя, но не имевшего

никакого вкуса к власти. Но что большее он мог придумать за одну минуту? Что вообще такое одна минута?

– Ты делаешь, мне кажется, ошибку, – сказала тихим голосом Софья Павловна, – отписывая все Конону-младшему. У него ведь от тебя только имя и кровь, но не характер. Он еще слаб и любит ласку, он болтлив, увлекается пухлыми книгами и невесть когда возмужает.

– Ничего, возмужает, – заверил его откуда-то раздавшийся внутренний голос, – напьется чужого яда – станет Калигулой, чем не наследник?

Он спешил думать о Саломее. Ему было некогда опускать лицо в газеты, разве что изредка – в зеркало, чтобы ответить на ставший отчего-то важным для него вопрос: «Я – чудовище? Я кажусь отвратительным? Теперь, когда губы мои обметаны, а кожа на лице сделалась как восковая»?

– Напрасно беспокоитесь – успокаивал Софью Павловну немецкий доктор. – Влюбленность лечит сильнее обладания. Саломея дает, а не отбирает силы. И утешение свое он получит.

А золото?

Невозможно было понять, кто задал Конону этот вопрос. Опять внутренний голос? Но почему тогда он такой тоненький, с присвистом?

Золото.

Прииски.

Иски.

Иногда – выстрелы.

Не сам, конечно, не сам.

Конон любил сияние золота, не такое яркое, как солнце. Конону нравилось, что он извлекает эту коварную материю из зеленых земляных недр на свет божий и кидает ее на биржах на весы добра и зла.

– Я приготовил тебе, Саломея, небольшой подарок в благодарность за твои сказки и легкую руку. Вот, возьми, – он протянул ей коробочку из вишневого дерева.

Там лежало кольцо. Тонкой работы, из разного золота, имитировавшего сияние драгоценных камней. Копия кольца Клеопатры, которое он купил по случаю в Африке у рыночного торговца. В молодости. Когда только начинал. Тогда оно принесло ему хорошую сделку – и он как талисман все эти годы таскал его с собой.

Саломея замерла.

– Я очень люблю золото, – тихо призналась она.

– Я очень рад, – сказал Конон, – это у нас общее. – Примерь! Увидишь, как разгорятся эти золотые рубины на твоих пальцах.

Саломея давно привыкла к влюбленности обреченных. Сестры в клиниках, да еще и близкие к Богу, знали многие душевные тайны своих, от этого вдвойне беззащитных, пациентов. Этого слова в отношении них они не употребляли, хотя оно и имело родной латинский корень. Они говорили «страдающие», чтобы всегда помнить о том, что страдание и страсти суть одно и то же, а значит, нужно этому страданию служить – и служить самоотреченно.

Меттенское аббатство, известное особенной, очищающей перед смертью силой, принимало на финальное успокоение не то чтобы обыкновенных страдальцев, а с историей, рекомендациями и крупными банковскими счетами. Сестры, что ходили здесь, не были бедными монашками, не нуждалась и Саломея, принявшая любовь многих, кто перед жестокой агонией потянулся к ней рукой. Вот ведь. А тут – никак. «Старость приходит?» – спрашивала себя Саломея.

Те, кого она любила глубокой любовью, беря в себя их дыхание, иногда выживали. Четыре месяца назад она, кажется, спасла собой итальянского юношу, неуклюже оступившегося на мосту в своем чудесном, переливающимся колокольным звоном городке. Она положила

его руку себе между ног, прижав ледяные пальцы к пылающему влагиалищу, и он выжил, выбив потом наколку с ее именем на своем левом плече.

– Я не могу принять ваш подарок, Конон, потому что тогда вы решите, что вместе с кольцом я готова принять и большее. А этого я сделать не смогу.

– Ты только думаешь, что не можешь, – спокойно ответил Конон. – Возьми кольцо, и оно поможет случиться всему остальному.

– Так бывает, – согласилась Саломея, – но я знаю, что сейчас этого не будет.

– Ваше сердце занято? – он почему-то опять сказал ей «вы».

Он почувствовал боль и желание причинить боль в ответ. Посмотрел на часы. 18:04. Кровь петуха.

– Тогда почему? – задал Конон один из своих самых нелюбимых вопросов.

– Вы просто не нравитесь мне, вот и все, – ответила она, покраснев.

– Ты... вы не можете говорить это серьезно, – он не справился со своим языком. Конон почти плакал, и поэтому его голос казался особенно плотным, низким, словно доносившимся из-под земли. – Я верну вам вашу веру, – прокричал он ей вслед, я сделаю так, что вы сможете открыто молиться, я знаю всех, от кого это зависит, вас возьмут в самый лучший, близкий к Аллаху монастырь!

– В исламе нет монастырей, – ответил Конону ее голос. Сама она спешно спускалась по лестнице вниз, убегала то ли от него, то ли от себя.

Конон слаб, а золото набирало силу. Оно вытекало из него, словно кровь, бурным потоком уносило его жизнь, ему казалось, что его рост отбирает его дни, и когда цена достигнет зенита, он умрет. Оно рвалось вверх, оттесняя своих многоликих братьев и сестер: черномазую нефть, голубоглазый газ, неблагородный металл – медь, сталь, олово, плюща жалкие остатки его, Кононовых, часов и минут. «Должен ли я проклясть его силу, – терзался Конон вопросами в бредовых снах, – его силу, способную вырвать мое сердце, но не способную распахнуть для меня сердце Саломеи?»

Саломея трижды была замужем до того, как попала к своим сестрам-монахиням и навсегда уже определила для себя, интуитивно, конечно, место и время действия.

Последний ее муж умер у нее на руках от разорвавшегося сердца прямо на ревущей столичной улице, и тогда она сказала себе то же самое, что Конону, в ответ на его надежду выжить через любовь. «Не судьба, – сказала себе Саломея. – К моей жизни не приживается любовь».

Но еще одну страсть она все-таки пережила.

Когда ехала в монастырь и по дороге остановилась, уже отрекшаяся, открестившаяся, на две ночи в Стамбуле. Тоже в апреле и тоже восемнадцатого числа.

Он снес ей голову, словно огромным раскаленным мечом, – город Стамбул.

Она пошла вниз по улице с сестрами между двух величественных храмов к Босфору, было уже очень тепло, и от ходьбы она вспотела, миновала киоск кока-колы, увенчанный мусульманским полумесяцем, сделала еще два шага к мечети и испытала оргазм. Остановилась у решетки храма, прижалась к ней ледяными тонкими губами, зашептав вперемешку все известные ей молитвы на разных языках. Она вдыхала запах жареной скумбрии, доносившийся с пролива, столь отвратительный для выросших в Европе женщин. «Я вижу тебя второй раз в жизни, – шептала Саломея, – первый раз не наяву, в мечте, и уже тогда Бог мой, Аллах мой, Царь мой небесный, сладкий мой Властелин, отец всех моих мыслей, Хозяин души моей и тела, уже тогда я почувствовала, как жаждут мои сосцы грубых твоих ласк, и как жаждет мое лоно вторжения твоего. Прости меня, Господин мой повелитель. Прости за слабое желание выжить, которое оказалось сильнее страсти открыто служить и поклоняться тебе. Но я искуплю, ты увидишь, я искуплю».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.